СЕРГЕЙ
ЛУКЬЯНЕНКО

БЛИЗИТСЯ УТРО

ЗВЕЗДНЫЙ ЛАБИРИНТ

Сергей Васильевич Лукьяненко

Близится утро

Серия «Искатели неба», книга 2

Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119453
Близится утро: АСТ Москва, Хранитель; Москва; 2006
ISBN 5-17-037092-4, 5-9713-2332-6, 5-9762-0165-2,978-5-17-037092

Аннотация

Это – вторая книга дилогии «Искатели неба», начинавшейся романом «Холодные берега». Это – фантастика типично «лукьяненковская». Увлекательно-живая – и щемяще-горькая. Такая фантастика задевает не только воображение, но и душу… Это – продолжение сказания о мире, в который две тысячи лет назад пришел Искупитель. Сказания о Маркусе, владеющем силою Слова, способного изменить судьбу этого мира. Ибо в нем вновь пришел к людям Искупитель. В нем – или с ним… Это – «Близится утро». Книга, которая не оставит равнодушным никого…

Содержание

Часть первая 4
Глава первая, 4
Глава вторая, 28
Глава третья, 54
Глава четвертая, 81
Глава пятая, 104
Конец ознакомительного фрагмента. 126

Сергей Лукьяненко
Близится утро

Часть первая
Священный город

Глава первая,
в которой я удостаиваюсь высочайшей чести, но радости от того не испытываю

Плащ на мне был богатый, шелковый, с капюшоном, лицо скрывающим.

Хоть и церковная одежда, простого шитья и цветов неярких, а сразу видно – не простой послушник ее носит. Китайские шелка дорого стоят, есть чем гордиться.

И веревка, которой мои руки за спиной связаны, – шелковая.

Тоже повод для гордости, наверное?

Если уж начистоту, то это и не веревка, а поясок от того плаща, что на мои плечи накинут. И завязали его быст-

ро, небрежно, и не годится скользкий шелк на путы, а вот уже десять минут я на ходу пальцами шевелю, пытаюсь узел ослабить – не выходит! Не так просты святые братья, как кажутся…

Хотя чем бы мне распущенный узел помог? В Урбисе, городе в городе, резиденции Юлия, Пасынка Божьего…

Да еще с двумя спутниками, что вели меня по бесконечным коридорам, крепко под локти поддерживая. Со стороны, наверное, виделось все мирно и обыденно: молодые послушники помогают идти старенькому священнику, погруженному в благочестивые раздумья…

Вот только не было во мне сейчас ни капли благочестия. Может, от того, что затылок ныл и в голове все еще плыл тягучий звон. А скорее от того, что я прекрасно понимал – ничего хорошего меня впереди не ждет.

– Ступенька, святой брат, – сказал тот, кто шел справа. Беззлобно сказал, даже заботливо.

А что уж им на меня злобиться? Теперь-то…

В щель капюшона видел я только маленький кусочек пола. Идти это не помогало, но все какое-то развлечение. Долго мы идем, и все время разный вид.

Вначале, как из кареты выбрались, под ногами был простой камень. Гладко пригнанный, чисто выскобленный, но камень – без затей. Потом деревянные полы длинных галерей. Потом мраморные, с инкрустацией, дворцовые. Потом поверх мрамора легли мягкие ковры.

Все богаче и богаче…

Хотя какая разница, что ногами топчешь?

Главное – самому под чужие ноги не лечь…

– Стойте, святой брат…

Это тот, что слева. По переменке говорят.

Я стоял послушно, только пальцы своевольничали: играли с узлом, пытались гладкий шелк поддеть да распустить. А послушник справа позвенел ключами – судя по звону, хорошая бронза на ключи пошла, отворил дверь.

– Ступенька, святой брат…

Странно. Я уж ожидал, что скоро под ногами самшит и красное дерево окажутся, бирюзой и сталью инкрустированные. Ошибся, снова простой камень…

Меня вели куда-то вниз, в подвалы.

Сердце застучало сбивчиво и тревожно.

Нет, я снисхождения не ждал, ко всему готовился, но не так сразу!

– Куда вы меня ведете? – не выдержал я. Конечно, ответа не было. Только пальцы конвоиров сжались крепче.

Вот так…

Шли мы по лестнице, довольно пологой, но тянулась она так долго, что до поверхности сейчас было метров десять, не меньше. Самое место для пыточных камер: никакие крики не долетят до дворцов Урбиса, не потревожат праведников.

Сжал я губы покрепче и решил, что больше задавать вопросов не стану.

Умел жить – умей и умереть.

Еще три раза гремели ключи. А вот людей нам не встретилось, и тишина стояла мертвая. Не похоже на пыточные камеры: самому искусному палачу нужны подручные, а инструмент, к делу готовящийся, шум издает немалый.

Умом я понимал – успокаиваю себя. Но так хотелось в худшее не верить! Это в самой природе человеческой: неизбежному противиться, надежды строить. И ведь помогает порой. Вот когда в египетской пирамиде у меня фонарь потух, придумал я сам себе утешение – по памяти, мол, выйду, память у меня хорошая…

И пошел.

И вышел… выполз на третий день.

Только совсем не через тот лаз, через который в гробницу забрался. Через какой-то другой, никому не известный.

Умирать никогда не хочется. Вот потому и надеешься на лучшее – до конца.

– Садитесь, святой брат.

Меня толкнули в плечи, и я упал на жесткое сиденье. Впрочем, подлокотников, к которым положено руки прикручивать, не было, и это радовало.

Минуту было тихо. Конвоиры стояли молча и не шевелясь, будто и нет их. Только дышали чересчур громко.

А потом скрипнула где-то впереди дверь. Вспыхнул свет – яркий, будто от газовых рожков или ацетиленовых ламп. Раздались шаги… и мои конвоиры будто забыли дышать.

– Снимите с него капюшон.

Сказано было негромко и вроде бы мягко. Но с такой властностью!

Капюшон с меня сдернули вмиг, в четыре руки. Наверное, и голову оторвут так же радостно, если потребуется…

Поморгал я, озираясь, привыкая к яркому свету и пытаясь понять, где очутился.

Нет, на пыточную камеру не похоже.

Вообще ни на что не похоже!

Маленький круглый зал, вдоль стен – череда газовых рожков, на потолке – древняя, потемневшая, совсем уж неразборчивая мозаика. Стены каменные, пол каменный. Я сижу на короткой деревянной скамье без спинки, конвоиры мои рядом застыли. Впереди точно такая же скамья, простая и жесткая, из темного от времени дерева. И на ней сидит человек: пожилой, все лицо в морщинах, лоб с залысиной, глазки подслеповатые, навыкате, будто сонные…

Простой человек в белой мантии, в белой тиаре…

– Освободите ему руки.

Говорил он, почти не разжимая губ. Будто каждое его слово – драгоценность, и неизвестно еще, достойны ли мы услышать сказанное.

А ведь так оно и есть!

Преемник Искупителя, глава Церкви Юлий сидел передо мной.

То, что мне не давалось, у святых братьев проблем не вы-

звало. Шелковый поясок развязался вмиг.

– Уходите.

Святые братья склонили головы – и беззвучно ускользнули в ту дверь, через которую привели меня.

Мы остались наедине.

И месяца не прошло с тех пор, как был я удостоен чести лицезреть епископа Ульбрихта. Помню, как бросился перед ним на колени, припал к руке, прощения и благословения прося…

А сейчас будто выжгло во мне что-то. Будто остыло.

Сижу перед Пасынком Божьим и не шевелюсь…

– Понимаю… – сказал Юлий. Посмотрел куда-то в сторону, вздохнул. – Назови свое имя.

– Ильмар.

– Ты вор? – так же сонно, скучно спросил Пасынок Божий. Он слегка картавил, как человек, долго пытавшийся от косноязычия отучиться, но так до конца и не преуспевший.

– Да… ваше святейшество.

– На Печальных Островах ты помог бежать с каторги мальчику по имени Маркус?

– Да… ваше святейшество.

– Ты знал тогда, что Маркус – младший принц Дома?

– Нет.

Пасынок Божий опустил веки и будто вообще задремал. Я потихоньку оглянулся. Да быть того не может, чтобы меня, каторжника и душегуба, оставили наедине с самим Юлием!

Но никого, кроме нас, в странной этой комнате не было. И никаких амбразур, сквозь которые меня на прицеле держат, я тоже не увидел. Может, смотрел плохо?

– Почему ты его спас? – пробормотал Юлий. – А? Почему…

Вроде бы он и вопроса не задал, так, в воздух произнес. Но я ответил:

– Он мне помог бежать.

– Помог, а дальше? – Тощие плечи под белой мантией вздрогнули. – Зачем потом спасал, правды не зная?

– Сестра-Покровительница завещала товарищей не бросать…

– Чтишь Сестру… Это хорошо. – Брат Юлий посмотрел на меня: – А Искупителя – чтишь?

– Чту.

– Верю, – легко согласился Юлий. – Поглядеть, так ты достойный сын Церкви. Как же дошел до жизни такой?

– Какой? – тупо спросил я.

Пасынок Божий помолчал. Потом спросил, с ноткой интереса:

– Знаешь, где мы с тобой беседуем?

Я замотал головой.

– Это часовня, в которой короновали Искупителя на римский престол. Вокруг нее весь Урбис строился. Это – сердце веры, Ильмар. Эта комната невзрачная, для беглого взгляда убогая, – основа Державы. Она, а не великие монастыри,

пышные храмы, огромные соборы.

Меня дрожь пробила. Вот чего не ждал… А Пасынок Божий продолжал:

– Немногие удостоены чести сюда войти. Еще меньше тех, кто на эти скамьи садился. На одной из них сидел сам Искупитель… вот только на какой – неведомо. Даже мне.

Он снова на меня посмотрел. Странная у него манера, глянул – будто коснулся… и тут же взгляд отдернул.

– За что мне такая честь? – спросил я.

– Скажи правду, вор Ильмар, – моего нахального вопроса Пасынок Божий будто и не заметил. Не заметил, но ответ дал… – Здесь, в сердце веры, в символе Урбиса, ты не посмеешь сказать неправды. Ответь… – Снова быстрый взгляд – только теперь Пасынок Божий глаз не отвел, впился в меня взглядом, и голос его окреп, набрал силу: – Кем ты считаешь Маркуса, бывшего принца Дома?

– Искупителем… – прошептал я.

Пасынок Божий тонко сжал губы. Спросил:

– Почему?

– Он Слово Изначальное узнал… – начал я. – Разве простому человеку оно дастся?

Молчал Юлий, смотрел в пол, опять будто задремав. Но я к такой его манере уже привыкать стал и ждал терпеливо. И дождался:

– Скажи, брат мой во Сестре и Искупителе, Ильмар-вор… А почему же Церковь с таким усердием ищет повсюду невин-

ное дитё, в котором дух Искупителя приют нашел?

Перевел я дыхание, собрался с силами и ответил, как думал:

– Изначальное Слово – власть, ваше святейшество. Ключ ко всем Словам, что были, и есть, и будут. Ко всем богатствам, что в Холоде спрятаны.

– Что же с того?

– Кто Изначальным Словом владеет, тот будет миром править… – пробормотал я. – А это и для мирских владык – соблазн, и… и для Церкви Святой.

– Ильмар-вор… – начал было Юлий, да замолчал в раздумье. Потом голову поднял и будто только меня увидел – спросил: – А расскажи-ка мне, Ильмар, что случилось в городе Неаполе, где встретился вам офицер Стражи Арнольд. Расскажешь?

Пустой вопрос, все я уже сказал, еще на первом допросе… Плоть слаба: как стал мне итальянский искусник «Белую розу, красную розу» показывать, так и рассказал, уже на третьем белом лепестке во всех грехах признался.

– Расскажу, – кивнул я.

Хорошо хоть не с самого начала повелел Пасынок Божий рассказывать. С гиблой каторги на Печальных Островах, откуда мы с Маркусом бежали, планёр похитив и летунью Хелен принудив до материка нас доставить. С города Амстердама, где на меня облаву устроили и где стал я свидетелем проступка Арнольда, офицера Стражи – в горячке схватки

собственного напарника убившего. А больше всего не хотелось мне рассказывать, да и просто вспоминать, как святые братья во Сестре и в Искупителе друг друга убивали… и как я одного из них убил…

Ну а Неаполь… что по сравнению со всем этим Неаполь?

Рассказал я Пасынку Божьему, как бежали мы с Миракулюса: младший принц Маркус, я, летунья Хелен и настоятельница Луиза, помогавшая Маркусу на Острове Чудес от Стражи прятаться. Как Маркус своим Словом чудеса творил, как мы от линкора имперского отбились, как в дилижансе рейсовом приехали в Неаполь – прямо в засаду, устроенную Арнольдом.

И как Маркус побоище остановил, одним лишь Словом… Как холод прокатился по улочке, как испуганно ржали лошади, с которых исчезла упряжь. Как стражники, оставшиеся в один миг с голыми руками, дергались, будто тарантеллу танцуя, ощупывали себя, оглядывались, пытаясь понять, кто же их обезоружил.

Тогда Марк забрал в Холод все, что только могло послужить смертоубийству. Забрал, даже не прикасаясь, даже не глядя – одним усилием. Далось ему это непросто, и повязали бы нас стражники, даже без оружия оставшись – если бы не Арнольд.

Что у него тогда в душе творилось? Лишь Сестре с Искупителем ведомо. Мне-то попроще было, на меня долг офицерский не давил, я Дому не присягал… Только Арнольд вы-

бор сделал. И вывел нас из засады, собственных солдат раскидывая, будто кукол тряпичных, одной рукой дорогу прокладывая, другой беспамятного Маркуса к груди прижимая.

– Уверовал, значит, офицер Арнольд… – сказал Пасынок Божий. Вроде как с иронией сказал, но голос-то серьезным остался. – Писание вспомнил…

– Как же его тут не вспомнить? – отважился я на вопрос. – Ведь сам Искупитель, когда солдаты римские его с Сестрой убить хотели, то же самое сотворил!

Пасынок Божий вздохнул. Спросил:

– Дальше что было, Ильмар-вор?

– Мы в порт отправились. – Я облизнул пересохшие губы, соображая, не стоит ли хоть чуточку утаить… Да к чему? Вреда от моих слов уже не будет. – Хотели на корабле, морем, в Марсель или Нант идти. А там уже – как сложится. В колонии Вест-Индии, или еще куда.

– Маркуса прятать. От Дома правящего, от Церкви Святой… – укоризны в голосе Юлия не было. Так – размышление вслух.

– Да, ваше святейшество. Чтобы вырос, чтобы Слово во всей силе постиг…

– Дальше.

А вот про то, что дальше было, труднее всего оказалось говорить.

– Мы… мы пошли корабль искать, – начал я. – Любой, лишь бы уже паруса поднимал. А оказалось, что у каждого

корабля святой брат дежурит, и без его подписи никого на борт не возьмут. Мы…

– Подкупить решили, – кивнул Юлий. – А когда не вышло – нож к горлу приставили. А когда на крик братья во Сестре сошлись – прочь кинулись. А ты, Ильмар-вор, остался бегство прикрывать. С пулевиком и ножом, один против двух десятков.

Я молчал.

– Почему ты, а не Арнольд? – спросил Пасынок Божий.

– Маркус идти не мог. Я бы его далеко не унес, а Арнольду – что пулевик за поясом, что принц на плече.

– Собой жертвовал, значит… – задумчиво сказал Юлий. – Или надеялся со всеми совладать?

– Нет, ваше святейшество. Не надеялся. Думал, там и лягу.

– Будь против тебя братья в Искупителе – лег бы, – согласился Юлий. – А вот братья во Сестре мои слова выполнили, живым тебя доставили.

Пасынок Божий встал, по часовенке прошелся – мелкими шагами, ноги мантией скрыты, будто плывет, а не шагает. Вздохнул, просто так, как простой человек, делами озабоченный. Спросил:

– И где сейчас Маркус со спутниками своими – ты не знаешь?

– Не знаю.

– А знал бы – не сказал?

– По доброй воле – не сказал бы. А под пыткой молчаливых не бывает.

Юлий прикрыл глаза. Будто утонул в своих размышлениях, замерев на полушаге.

– Ваше святейшество… – снова не выдержал я. Опасно прерывать размышления Пасынка Божьего, но был у меня должок, который надо отдать. – Святой паладин, брат Рууд, что вез меня в Урбис и погиб в дороге от руки другого святого паладина… Он просил меня, если попаду в Урбис, сказать вам, что смиренный брат Рууд долг свой до конца выполнял.

Юлий вздохнул. Сложил руки столбом, прошептал что-то беззвучно. Потом подошел, протянул руку да и коснулся моего потного от волнения лба. Пальцы у него были холодные, старческие, но рука еще крепкая, не дрожала.

– Грехи земные тебе прощаю, Ильмар-вор… в них беда твоя, а не вина. Грехи небесные простить не могу, буду Искупителя с Сестрой о тебе молить.

Я замер, ничего уже не понимая. Какие грехи земные? Какие небесные? И если земные прощены, так, может, за небесные лишь на том свете отвечать придется?

– Прощай, Ильмар-вор, – сказал Пасынок Божий. – Читай Святое Писание, моли Господа о милости. Мир тебе.

– Ваше святейшество…

Но задать вопрос я не успел. Мои недавние конвоиры вынырнули из дверей и вновь крепко взяли за локти. А Пасынок Божий уже повернулся спиной и брел к скамейке – мед-

ленно, тяжело, будто не пять шагов ему пройти предстояло, а полную милю.

– Подождите! – выкрикнул я. И в тот же миг один из святых братьев ткнул меня под ребро. Вроде как не сильно, вроде как невзначай – а ноги подкосились, и слова в горле застряли. Что-то хитрое, вроде японской карате-борьбы или русского або.

Похоже, и за небесные грехи расплата на земле предстоит!

Обратно меня волокли, уже не набрасывая на голову капюшона. И рук не связывали. Будь на месте священников простые стражники – упрекнул бы в небрежности. А этим, пожалуй, что с руками я, что без – все едино.

Тащили меня не к лестнице, ведущей наверх, в дворцы Урбиса. Но и не вниз, хоть я нутром чуял – есть здесь еще подземные этажи. Вели по длинному коридору старой каменной кладки, почти темному – факелы висели раз на сорок шагов. Стены были сырыми, пахло плесенью и гнилью. Удивительно, рядом со святыней святынь, часовней, где Искупителя короновали, такое запустение!

– Братья во Сестре, – почему-то мне казалось, что два моих конвоира именно Сестру в молитвах вспоминают. – Пасынок Божий отпустил все мои земные грехи!

Наконец-то я дождался от них ответа.

– Мы слышали, Ильмар-вор, – ответил тот, что шел слева.

– А грехи небесные на тебе, – уточнил второй.

Значит, все.

Сейчас отправят меня к Господу – лично насчет небесных грехов договариваться. И тут уж даже Сестра не заступится.

А всего обиднее, что ноги до сих пор едва шевелятся и сопротивляться никаких сил нет.

Я насчитал восемнадцать факелов, прежде чем коридор кончился. Не бездонным провалом в земле, и не топкой огненной, как я втайне боялся, а небольшим залом, немногим посветлее коридора.

И это был не просто подземный зал: жилая комната.

У стены два топчана дощатых, заправленных грубыми одеялами. Стол простой, на нем немудреная еда: две луковицы, буханка хлеба, фарфоровая миска с двумя селедками, две глиняные кружки с вином или водой. За столом сидели двое. Один – мужик лет сорока, лицо грубое, будто топором тесанное, кожа серая, словно он из этого подвала лет десять не поднимался. Рядом пацан лет десяти, как две капли воды похожий, сын, наверное. Оба одеты в монашеские рясы из серого сукна, и у обоих глаза… пустые глаза, будто темнотой их выело.

– Ильмар-вор, – сказал один из моих конвоиров торжественно. Словно мажордом на важном приеме гостя объявил… – Повелением Пасынка Божьего отпущены ему грехи земные, остались грехи небесные.

Старший из монахов поднялся. И на лице его появилась улыбка – сдержанная, но радостная. Будто всю свою жизнь он меня здесь ждал, успел и сына невесть от кого прижить,

и кожей посереть, но дождался-таки!

– Ильмар-вор… – проскрипел монах. Голос был сиплый, видно, от вечной сырости подземелий. – Хорошо. Тринадцатая камера.

Камера?

– Пасынок Божий велел мне грехи небесные замаливать, – быстро сказал я.

– Тут все их замаливают, – сообщил один из конвоиров. – Для того тебя и привели.

Вслед за монахом-надзирателем, что открыл тяжелым ключом еще одну дверь, меня вывели в следующий коридор – длинный и темный. Мои конвоиры ловко прихватили со стены чадящие факелы. Что за отсталость, просто средневековье какое-то, будто нет в Державе ярких карбидных и керосиновых ламп!

Я успел оглянуться – и увидел, что в совсем уж темной комнате пацан в монашеской одежде жадно ест селедку, запивая вином из кружки.

– И долго мне грехи-то замаливать, братья во Сестре? – спросил я.

Мне не ответили. Да и не нужен был ответ – все я прекрасно понял.

Мы прошли коридором шагов двадцать. Миновали несколько люков в полу, накрытых решетчатыми деревянными крышками на крепких замках. Там царила полная тьма, но мне показалось, что за одной из решеток что-то шевель-

нулось.

У тринадцатого люка – я считал – надзиратель с кряхтением нагнулся, отпер замок и отволок решетку в сторону. Кивнул:

– Прыгай, Ильмар-вор.

Я стоял как вкопанный. Надзиратель с неуместной заботливостью добавил:

– Прыгай, невысоко. Будет воля Сестры – не расшибешься.

Оглянувшись на охранников, я понял – сейчас помогут.

– Святые братья, мне ведь Пасынком Божьим велено Святое Писание читать, грехи замаливать… – нашелся я. – Нельзя же так…

Охранники с сомнением переглянулись. Но надзиратель затрясся, будто его желудочные корчи пробили:

– Нет! Не положено!

– Мы узнаем у Пасынка Божьего, как тут быть, – решил один из охранников. – А сейчас прыгай.

– Подождите, подождите! – засуетился надзиратель. – Вещь-то казенная!

Он потянулся к моему плащу, явно намереваясь сорвать его. Ну, сраму стесняться тут нечего, но в камере голым сидеть – мою-то всю одежду забрали! Нет уж!

Коленом я ударил надзирателя промеж ног. И качнулся вперед – в темную дыру. Со всех сил качнулся, забрасывая ноги в пустоту и повисая на руках охранников.

Прыгать вслед за мной святым братьям не хотелось – пальцы разжались.

Падать и впрямь было невысоко. Метра три или чуть больше. И сгруппироваться я успел, так что даже пяток не отбил – прокатился по каменному полу и встал.

Вверху, в светлом проеме люка, виднелись две озабоченные физиономии. Потом к ним присоединилась третья.

Надзиратель шипел и бормотал что-то о душегубах, Богом проклятых.

– Снимай халат и кидай наверх! – потребовал охранник.

– Сейчас, уже снимаю, – ответил я, торопливо озираясь. Света мне здесь не оставят, это уж точно, надо успеть хотя бы осмотреться…

Камера была небольшой. Метра три на три, почти кубическая. Стены, пол – все из каменных плит изрядного размера. Значит, не выковырять камень, не прорыть лаза… В одном углу камеры – дыра в полу, небольшая дыра, с ладонь размером. Над ней в стене – совсем уж маленькое отверстие, из которого вода льется непрерывно, в дыру убегая. В противоположном углу камеры – груда опилок. Именно опилок, мелких и вроде даже чистых.

Хорошо придумано.

Тут тебе и вода для питья, тут тебе и сортир. Тут тебе и ложе – да такое, что на лестницу не употребишь. А до потолка не допрыгнешь. А по потолку до люка не проползешь. Русский зиндан, одним словом!

– Халат! – крикнул надзиратель. – Халат отдай, душегуб! Вещь отчетная! Халат!

– Святое Писание, карбидную лампу и кирку! – крикнул я в ответ.

Надзиратель в сердцах плюнул вниз и стал задвигать деревянную решетку. В общем-то в ней и нужды не было.

– Если еды не давать, пока не вернет… – вполголоса предложил один из конвоиров.

– Не положено! – с искренней болью в голосе ответил надзиратель. – Душегуб проклятый… что ж вы не держали?

Значит, голодом меня морить не собираются. Хорошо…

– Да пусть он удавится своим халатом!

– А если и впрямь удавится?

Голоса уже удалялись. А вместе с ними – и чахлый факельный свет.

Я сел на пол, провел рукой по камню. Чисто, на удивление чисто. Видать, после предыдущего узника камеру отмыли.

На всякий случай я все-таки подполз к груде опилок и бережно просеял их между пальцев. Нет, ничего. Ни записок, написанных кровью из жил на обрывке ткани, ни тайно припасенного инструмента, чтобы ковырять стены.

– Попал ты, Ильмар… – сказал я самому себе. – Ох и попал же…

Очень медленно – спешить мне теперь было некуда – я двинулся по периметру комнаты. И всюду, куда только дотягивался, ощупывал стены. Все камни были крепкими, на-

дежными. Никаких выцарапанных посланий тоже не было. Да и чем их выцарапывать, если в камеру голым бросают? Ногтями? Или собственный зуб выдрать, да им попробовать? Нет, не выйдет, не найдется на свете зубов крепче гранита.

Через полчаса ощупывать стало нечего. Сложив руки ковшиком, я подставил их под лениво текущую струйку. Сестра-Покровительница, посмотри на меня, ободри, вразуми…

Вода была хорошая. Вкусная, чистая. Удивительное дело, водопровод в камере – неслыханная роскошь. Хотя кто в мире богаче Святой Церкви? Разве что Владетель… Да и то сомнительно.

Я отошел обратно к груде опилок. Уселся, скрестив ноги, подгреб под себя побольше трухи. Камеру я, можно сказать, изучил. Уж чем-чем, а умением в темноте не теряться Сестра меня щедро одарила. И не в таких переделках бывали…

Тряхнул я головой и признался себе, что не прав. В таких – не бывал. Египетские гробницы, киргизские курганы, саксонские подземелья – все это давным-давно заброшено. Кроме хитрых, но обветшалых ловушек нет там преград. Да и не голым я в них забирался – с веревками, лампами, прочим снаряжением. А здесь – тюрьма. Камера, в которой до конца жизни сидеть предстоит… если не удастся выбраться, конечно.

Так что же я имею?

По стенам не забраться, до люка не допрыгнуть…

Есть у меня, конечно, халат. А из шелкового халата можно легко веревку сделать. Это и снаряжение, это и оружие…

Веревка. Груза нет, крюка нет, но придумать-то что-нибудь можно? Ведь можно? Значит, забрасываю веревку, цепляю ее за решетчатый люк, подтягиваюсь…

Снаружи раздался шум. Я поднялся, поморгал, когда в коридоре появился желтый дрожащий отблеск. Надо же, как быстро глаза от света отвыкли!

– Дальше, дальше…

Голоса – много голосов. И шаги дружные. Человек пять-шесть идет.

Люк с грохотом отодвинулся. Надзиратель заглянул вниз, а за его спиной замаячили каменные лица конвоиров.

– Ильмар-вор! – угрожающе произнес надзиратель. – Если ты сейчас же не отдашь халат доброй волей, мы спустим лестницу и заберем его силой.

Только начал побег обдумывать…

– Святые братья, не губите! – как можно жалобнее воскликнул я. – Холодно здесь, помру я! Оставьте одежду, святые братья! Даже римская стража над Искупителем так не зверствовала!

– Так и ты не Искупитель, Ильмар-вор. – Надзиратель был непреклонен. – И нечего о зверствах говорить – по полста лет люди в таких камерах жили! Халат!

– Да что ты с ним рассусоливаешь… – брезгливо бросил кто-то из святых братьев. – Он еще имя Искупителя своим

грязным языком трепать будет! Давайте…

Вниз начала опускаться лестница. Ну вот, только сломанных ребер мне не хватало! В один миг я сорвал с себя халат, скомкал и швырнул вверх, прямо в лицо надзирателю.

– Забирайте! Изверги!

…Для порядка бы еще слезу пустить, пусть в моем слабодушии уверятся, но плакать совсем не хочется. Когда в душе одна лишь злость – откуда слезы?

– Может, поучить его для порядка? – осведомился кто-то.

– Нет, не положено! – отрезал надзиратель. – Служба должна осуществляться со всем тщанием, но без лишней жестокости!

Экий он законник…

– Халат проверь, может, уже успел веревок надергать? – спросил тот, кто желал заняться моим воспитанием.

– А я что делаю? – обиделся надзиратель. – Все в порядке, целый халат… а поясок, поясок!

– Поясок у меня…

Решетка легла на свое место, а свет и голоса удалились. Да уж, кто по доброй воле здесь решит задержаться…

Я снова вернулся к своим опилкам. Вот так, Ильмар-вор. Нет тебе фарта. Обходись тем, что есть. Головой.

Каждому вору, а порой и честному бюргеру, рано или поздно приходится с тюрьмой знакомство сводить. Ну, если за пьяную драку присудили тебе месяц конюшни чистить или за мелкую кражу добряк-судья год каторги пожаловал, –

это дело простое. Устраивайся, обживайся, учись, как обитать за решеткой. А вот когда попал на пожизненную… ну, или на десять лет рудников, что верная смерть, – то готовься бежать.

Только по уму готовься!

Вначале пойми, как ты бежать будешь. Слабину прощупай – в стене, в полу, в стражниках. И жди момента. Не дергайся раньше времени. Но и не упусти свой шанс. Не перегори. Тюрьма, особенно одиночка, тем ужасна, что волю убивает. И тело еще не ослабло, и мысли двигаются, а воли нет – и пропал человек. Перед ним дверь открой, ключ на столе забудь, оружие оставь, а он будет тупо смотреть, шага к свободе не сделает.

Бежать. Как? Камера глухая, стены не пробить. До люка не допрыгнуть. Эх, будь у меня хорошее Слово, а на Слове… лестница, к примеру. Или хотя бы веревка с крюком, веревку можно и на слабое Слово положить. Ну и пила, конечно, чтобы, к люку добравшись, перепилить брусья…

Пустое это. Во-первых, даже выберусь из камеры – надо будет как-то дверь в коридор открывать. А во-вторых, нет у меня Слова.

Что у меня есть? Опилки, вода да слив для нечистот…

Можно, конечно, опилками слив забить. Даже думать противно, с чем их для этого мешать придется, но… Можно, наверное. А когда камера вся доверху водой заполнится, подплыть к решетке, попытаться с замком справиться…

Я захохотал, но смех в гулкой темноте прозвучал так страшно, что наперед я зарекся смеяться.

Это ж сколько будет наполняться камера от тонкой струйки?

Дня три, четыре…

А меня ведь кормить собираются.

Да и не смогу я трое суток в ледяной воде проплавать. В лучшем случае – утону. Но тогда уж проще жилы на руке перегрызть да и отправиться медленной скоростью на тот свет…

Значит, не там слабину ищу.

Глава вторая,
в которой я делаю глупости, но вреда мне это не приносит

Уж не знаю, кто мог в такой камере пятьдесят лет прожить. Может, дикий гренландец или исландец, привыкший среди льдов жить, на морозе нужду справлять и снегом умываться. Холодно! Все время холодно, а ведь сейчас теплая ранняя осень стоит. Холод мешал спать, холод не давал думать, холод тянул силы. Хоть бы одеяло какое! Хоть бы одежду оставили!

Первую ночь в камере я не мог даже глаз сомкнуть. Промучился, то пытаясь зарыться в опилки – тогда ледяной пол высасывал из меня тепло, то сгребая все под себя – тогда мучил холод, идущий от каменных стен.

Но, проснувшись, я обнаружил, что в какой-то миг все-таки задремал. Пошел в угол, к воде и сливу, да и наткнулся на что-то круглое и мягкое, лежащее на полу.

Это оказался мой паек. Ползая по камере, я нашел две вареные картошки, маленькую репку, ломоть хлеба и кусок соленой трески. Еда была помятой, видно, ее попросту, без церемоний, скинули через решетчатый люк. Вот и рухнул еще один мой план – подкараулить надзирателя в тот момент, когда он будет разносить еду.

Справив дела и умывшись, я вернулся к своим опилкам. Очистил картофелину – интересно, скоро ли я перестану ее чистить и начну жрать с кожурой? – да и стал есть, вприкуску с треской.

В общем-то прилично кормят. Хлеб черствый, но пшеничный, из хорошей муки. И рыба не вонючая, такую и на воле с удовольствием едят.

А вот супчика наваристого или каши горяченькой мне теперь не попробовать. Это ведь миску потребуется спускать в камеру. Значит, есть риск, что отчаявшийся узник бросится на тюремщика… а риска святые братья не любят.

Вторую картофелину и репку я оставил на потом. Привычно уже сгреб вокруг себя опилки, будто птица, в гнезде поудобнее устраивающаяся, и стал размышлять.

По всему выходило, что своими силами мне не выбраться. Никак. До люка не добраться, подкоп не сделать, затопление устраивать никакого смысла нет. На самый худой конец я оставил попытку дыру сливную расковырять да в канализацию прыгнуть. Наверняка об этом архитекторы подумали, и ждет меня либо крепкая бронзовая решетка, либо труба такая узкая, что не протиснешься. Это та же смерть, только совсем уж позорная – в нечистотах захлебнуться.

Значит, единственная слабина, которую мне искать стоит, – в людях. В тюремщике моем ненаглядном, в человеке с мертвыми глазами. Тщание, но без лишней жестокости… хорошо говорит, как по писаному. Неужели нет у него сла-

бых мест? Корысть, азарт, трусость… Только ведь и подкупить мне его нечем, и не запугать никак. А самое плохое – вовсе он не собирается со мной разговаривать. Даже еду по ночам разносят, вот чего удумали!

Выходит, этой ночью придется бодрствовать…

Спать вроде как и не хотелось. Но я все-таки лег и честно попытался подремать. Получилось, и даже сон мне снится начал. Снилось, что мы снова бежим по темным, ночным улочкам Неаполя, с опаской поглядываем на Арнольда, что тащит беспамятного Маркуса, одним лишь каменным лицом редких прохожих распугивая… Но в отличие от настоящего нашего бегства, всего три дня назад случившегося, я прекрасно знал – мы прямо на засаду движемся. Знал – и не мог о том сказать. Знал – и шел вперед. Как Искупитель, с апостолами навстречу римским солдатам движущийся…

Вот только Искупитель не зря Богу-отчиму в Гефсиманском саду молился. Минула его смерть постыдная, принес он в мир Слово…

А я что хорошего совершил? Если не брать в расчет прежнюю мою жизнь?

Ну, помог Маркусу с каторги убежать… помог ему новых друзей и защитников обрести… в порту до беспамятства дрался, себя не щадя, лишь бы он спасся…

Неужто и вокруг Искупителя, кроме одиннадцати и одного – еще и другие апостолы были? Те, кто раньше торжества веры погиб?

Я уже совсем проснулся, лежал, уткнувшись лицом в опилки, слабо-слабо живым деревом пахнущие, и думал. Не о побеге. Об Искупителе. О Маркусе. О Святом Слове. О Святом Писании.

Может быть, Маркус мне поможет? Ведь что ни говори, а он – новый мессия! Пусть даже еще маленький…

Вроде как не было такого, чтобы Искупитель своим верным слугам не помог! Даже когда одиннадцать проклятых его предали и отвернулись – разве укорил он их? Напротив! Каждому должность немалую предложил, каждому хотел Слово дать. Другое дело, что они в своем заблуждении не раскаялись. Давным-давно я проповедь одну слушал, хорошо священник излагал, даром что брат во Искупителе, а не в Сестре. Как молил Искупитель ослушников: «Истинно говорю вам – я есть Царь Земной и Царь Небесный. Покайтесь в грехах своих, ибо кто из нас без греха? Нынче же будете со мной на римском престоле!» Вот только не покаялись апостолы-отступники. И сказал тогда Искупитель: «Прощаю вам все грехи земные, а грехи небесные не вправе простить. Идите, и больше не грешите!» Обнял верного Иуду Искариота, и ушел во дворец, и скорбел три дня и три ночи…

Ушли они, одиннадцать проклятых. И никто их не сажал в подземный зиндан, чтобы там раскаивались в грехах небесных.

Воззвать бы сейчас к новому Искупителю, Маркусу, помощи у него попросить!

Только не услышит. Мал еще новый Искупитель. Нет у него таких сил, чтобы прийти в Урбис, отворить все двери и вывести меня на свет…

Я даже вздохнул, картину эту представив. И тут же сам себя устыдился. Когда такое бывало, чтобы я, Ильмар Скользкий, лучший вор Державы, на чужую помощь надеялся? Пусть даже на помощь божественную? Сестру попросить, чтобы вразумила, Искупителю о милости взмолиться – это да, без этого никак. Но чтобы на подлинное чудо надеяться – не было такого! Это значит уподобиться святому миссионеру из притчи, который при потопе Искупителю молился, а плот вязать не стал, к проходящему кораблю не поплыл, так и утоп тихонько, в молитве искренней, чтобы потом от Искупителя укоризну услышать: «Разве не дал я тебе бревен и веревок? Разве не послал к тебе крепкий корабль?»

Чудо – оно лишь к тому приходит, кто его увидеть сумеет.

А не увижу – буду грехи небесные во тьме и холоде замаливать…

Интересно, что же имел в виду Пасынок Божий, о грехах небесных мне говоря? То, что убил я святого брата, меня убить пытавшегося, по дороге из Амстердама в Рим? Или тех святых братьев, что покалечил я в жестокой схватке в Неаполе? Может, и убил кого… не докладывали.

Странно это.

Юлий, Преемник Искупителя на земле, вроде как искренне говорил. Без злобы. Не мог он не понимать, на какие му-

ки меня обрекает. За что же отправил в подземную камеру гнить заживо?

Понятно, что для главы Церкви появление нового Искупителя – нож острый. Кто он теперь, когда по земле настоящий Искупитель ходит? Слуга, управитель… Но он же не атеист безумный, в мистическом умопомрачении Бога отрицающий! Что ему оставшиеся недолгие годы земной жизни, если он поперек Искупителя пойдет, на вечные муки себя обрекая?

Значит, было у него свое понятие происходящего. Другое, не как у меня.

Ворочался я, то прилечь пытался, то прыгал и руками махал, чтобы согреться. И все пытался понять свои небесные грехи. Ничего у меня не складывалось. Хоть до конца света думай…

До конца света!

Тут меня таким морозом продрало, что я сел прямо на холодный камень. Схватился за голову.

Искупитель, значит…

Снова к нам пришел…

Как сказано в откровениях грешного апостола Иоанна Богослова, прежде должен прийти в мир ложный мессия, тот, что лишь выдавать себя станет за настоящего. А делать все наоборот. Как Искупитель был сыном простых людей, так антипод его, Искуситель, – дитем знатных родителей. Как Искупитель на римский престол взошел, неся в мир закон и

порядок, так его порочный двойник от земного престола отречется. Искупитель в мир принес Слово, давшее великую власть над любыми вещами, а Искуситель захочет над живыми душами властвовать.

И прославится он чудесами и добрыми делами, и победит, и станет властвовать во всем мире, и наступит на земле произвол и беззаконие, пока не придет истинный Искупитель…

– Да нет же… – прошептал я. – Как же так?

Наверняка Пасынок Божий Юлий именно это под моими небесными грехами подразумевал. Что помогал я не Искупителю, а Искусителю. Только все это простое совпадение! Не может такого быть! Сестра-Покровительница о пришествии ложного Искупителя вообще ничего не говорила. И священник, у которого в детстве я учился, не раз объяснял: откровения брата Иоанна могут быть иносказанием. Они есть предупреждение верующим, и святые истины надо не только буквально понимать, а постигать суть их через личную молитву Искупителю и Сестре.

Вспомнил я нашего старенького деревенского священника, который, сложив руки лодочкой, обходил прихожан, давая каждому причаститься святой водой из железной плошки (в горстях-то воду носить только Сестра умела), и испуг немного отпустил. Глупость это! Никакой Маркус не Искуситель! Он ведь и впрямь всем добра хочет!

Только пока от этого добра – одно горе.

Весь наш транспорт каторжный спалили, душегубов вме-

сте с моряками и надзирателями – лишь бы тайну сохранить. Преторианцы собственную землю десантом брали, никого не щадя, чтобы Маркуса схватить. Мне суждено в темнице заживо гнить. Правящий Дом лихорадит. Церковь, считай, на грани раскола! По всей Державе народ волнуется – Владетель уже месяц собственного отпрыска ловит и никак поймать не может. Того и гляди, Руссия с Китаем сговорятся, да и войной выступят!

Скверно получается.

Теперь мне понятно стало, почему братья во Искупителе так яростно смерти Маркуса жаждут. Для них это и впрямь – важнее даже, чем Изначальное Слово узнать! Вот братья во Сестре не верят в то, что Маркус – Искуситель. И ловят его, чтобы выведать тайну… соревнуясь в том с Владетелем.

А Пасынок Божий, которому положено два крыла веры воедино скреплять, крутится как может… Вот ведь угораздило старика! Впору пожалеть, хоть он меня и бросил в зиндан.

Я вскочил и заметался по камере, в бессильной злобе колотя по стенам. Сестра-Покровительница, помоги! Научи, как выбраться! Не во мне дело, Сестра! Не в каменном мешке, где мне умереть предстоит в холоде и мраке! Страдать здесь недолго, душа моя быстрее уснет, чем тело состарится, буду по полу ползать, еду подбирая да гадя под себя. Но умирать, не зная, что сотворил, – благо или зло, кому помогал – Искупителю или Искусителю, не хочу!

– Сестра, – прошептал я, цепляясь пальцами в трещину между камнями. – Помоги, дай знак!

Нет, камень под моими руками не рассыпался и не повернулся, тайную дверь открывая. Но сверху, из коридора, послышался легкий шум, и долетел робкий отблеск света.

Я застыл. Если это не знак – так что же тогда знак?

Главное – понять бы, что Сестра мне сказать хочет…

Над решеткой совсем уж посветлело, и в дрожащем свете факела я увидел своего надсмотрщика. То, что я не спал, его явно огорчило.

– Эй, святой брат! – крикнул я. – Мне надо поговорить с Пасынком Божьим!

Пожалуй, с тем же успехом я мог просить самого Господа позвать. Надсмотрщик, не дрогнув ни единым мускулом на лице, достал из плетеной корзины какую-то снедь и стал пропихивать через решетку.

– Я хочу важную вещь Юлию сказать! – вкладывая в голос всю убежденность, произнес я. – Тебе же плохо будет, если весть запоздает!

Никакой реакции. Да и неудивительно – кто из узников, здесь сидящих, подобных глупостей не кричал? И богатства сулил, и тайны обещал открыть, и на влиятельных покровителей ссылался…

На пол мягко упала картофелина. Потом – большое зеленое яблоко. Из-за спины надсмотрщика показалась голова его сынка – он проводил яблоко жадным взглядом. Явно не

одобрял папашу, переводящего вкусные вещи на всяких заключенных…

– Ну как знаешь, – вдруг сказал я. Идея в голову пришла глупая, но когда никакой другой нет… – Выпала же мне беда… сторожа-дегенераты.

Сквозь решетку упал кусок селедки.

– Что, приучаешь своего ублюдка узников кормить? – ехидно спросил я. – Это дело. Пускай прислуживать учится. Вы оба такие же арестанты, как я. Только у вас камера побольше. Зато работать приходится.

Пацан злобно уставился на меня. Надзиратель негромко сказал, склонившись к нему:

– Каждый узник поначалу склонен оскорблять нас. Особенно в первый месяц своего заключения, и к исходу первого и третьего года. В промежутках узник обращается с жалобами и мольбами, а подлинное смирение следует лишь на четвертый год…

– Учи, учи, – поддакнул я. – Да приглядывай, чтобы он у тебя с тарелки еду не крал. Что-то вас плоховато кормят, хуже чем нас, душегубов!

– Подлинный аскет, – рука надзирателя извлекла из корзины кусок хлеба и стала пропихивать сквозь решетку, – нечувствителен к насмешкам. Ибо насмешки порождены неудовлетворенным желанием, а мы свои желания ограничиваем из любви к Господу… Повтори.

– Ибо насмешки рождены… порождены неудовлетворен-

ным желанием… – буравя меня взглядом, прогнусавил мальчишка, – а мы свои ограничиваем…

– Из любви к Господу! – строго добавил надзиратель, отвешивая сыну легкую оплеуху.

– Из любви к Господу! – От обиды у пацана даже голос стал звонким, детским.

– То-то смотрю, лет десять назад ты не только Господа возлюбил, – высказал я надсмотрщику. – Как это у тебя получилось, страдалец? Какая женщина тебя в постели согрела, крыса подземная? Небось шлюха была дешевая…

Опасное дело – злить своего тюремщика. Уж тем более так злить! Но надсмотрщик и тут не отреагировал, лишь челюсти сжал, да движения стали резкими.

Впрочем, не на него мои оскорбления рассчитаны…

– Душегуб! – злобно крикнул мальчишка. – Моя мать достойная женщина! Моя мать в монастыре живет!

Я захохотал.

– Так ты не от простой шлюхи дитё прижил, а от монашки? Молодец, молодец!

От порывистого движения надсмотрщика хлеб разломился и крошками просыпался вниз. Монах молча сгреб глупого отпрыска и потащил прочь.

Прекрасно!

– Теперь буду знать, куда проштрафившихся монахов да их ублюдков ссылают! – радостно крикнул я вслед. – Аскет! А правда, что невесты Искупителя в постели особенно слад-

кие и страстные? Расскажи, как она тебя ласкала?

Грохот закрываемой двери – бежали они по коридору, что ли?

Подобрав яблоко, я вернулся на свое опилочное ложе. Усмехнулся, подбрасывая в руке твердый, тяжелый плод.

Вкусное, наверное.

От греха подальше я закопал яблоко в труху и улегся спать с чувством полного удовлетворения. Словно праведник, утешивший в два раза больше вдов и сироток, чем обычно.

Прошло два дня – если меня и впрямь кормили раз в сутки. Порции уже не казались мне такими щедрыми, как раньше, хотя надо отдать должное – надзиратель рацион не уменьшил. Суровый человек, твердый, даром, что глаза у него неживые. К сожалению, приходил он теперь без сына, и насмешки приходилось отпускать лишь в его адрес. Я интересовался, как он замаливал свой грех, не оскопился ли после проступка, и вообще, произнес больше гадостей, чем за всю прошедшую жизнь. Но надзирателя, похоже, пронять было ничем невозможно. Он не отвечал, без лишней суеты пропихивал еду и уходил, оставляя меня во тьме.

На третий день мне повезло.

Я задремал и проснулся от того, что рядом с моим роскошным ложем что-то шлепнулось. Поднял голову и встретил ненавидящий взгляд сына надсмотрщика.

Все-таки выдрессировал его монах! Пацан не попытался лишить меня пайка, он лишь кинул в меня картошкой.

– А, байстрюк… – поприветствовал я его, садясь на опилках. – Что, ты даже кидаться не умеешь?

Следующая картофелина упала ближе. Я лениво пнул ее ногой и сказал:

– Ты, видать, руками привык всякие гадости делать, вот и отсыхают с молодости…

Пацан молчал, тщетно пытаясь придать лицу такую же твердость, как у отца. Потом достал кусок соленой селедки – как же она мне надоела! Смачно плюнул на него и бросил через решетку.

– Водичка есть, отмою, – сообщил я с улыбкой. – Ублюдок клешерукий.

Удачное оказалось словцо! Обидное.

Пацан достал третью картофелину, которой вроде как и не положено было быть в пайке. Попытался примериться сквозь узкие дырки решетки. Я захохотал.

И тогда мальчишка достал связку ключей, злорадно улыбнулся и стал отпирать замок.

У меня чуть челюсть не отвисла от удивления. Я-то надеялся, что за полгода, за год сумею его в неистовство привести. Но дети – они такие чуткие, раньше повезло!

С неимоверным трудом пацан сдвинул тяжелую решетку до половины. Я вскочил и испуганно кинулся в угол. Крикнул с надрывом:

– Эй! Эй, ты чего удумал, мерзавец!

Конечно, у пацана хватало ума, чтобы не пытаться лезть в

камеру. Он просто поднял рясу, спустил штаны и принялся мочиться, метясь в мою сторону. Но напора явно не хватало.

– Ты даже ссать не умеешь, – уведомил я.

Пацан торопливо заправил штаны, схватил картофелину и чуть наклонился, целясь.

Вот он, мой шанс!

Яблоко, твердое зеленое яблоко, которое так хотелось съесть, было у меня в правой ладони. Я бросил его одновременно с мальчишкой. Изо всей силы, будто речь о моей жизни шла.

Впрочем, так оно и было. Второй раз пацан бы на эту удочку не попался.

Картофелина больно ударила меня в щеку – мальчишка-то оказался не бесталанный! Но и мой снаряд не промазал – звезданул его прямиком в лоб. Самое обидное было бы, отшатнись мальчишка назад или упади на полусдвинутую решетку.

Но все получилось великолепно!

Он вскрикнул, всплеснул руками, хватаясь за голову, и рухнул прямо в люк.

– Спасибо, Сестра! – завопил я, бросаясь к поверженному врагу. – Господи, да благословенны дети малые, таковых будет Царствие Небесное!

Пацан хныкал, елозя на полу и пытаясь подняться. Он, видно, еще не оценил до конца размеров катастрофы. Я рывком поднял его, встряхнул, заботливо спросил:

– Не ушибся, дружок?

– А… – заныл пацан, сообразив, что попал прямо в лапы к душегубу. Похоже, он был цел, хранила Сестра.

– Не ори, поздно уже кричать, – утешил я его, сдирая с пацана рясу. Хорошая ряса. Крепкая, почти новая. И башмаки крепкие, на деревянной подошве. Штаны оказались похуже, изрядно прохудившиеся и явно послужившие не одному монашку, а рубашка – совсем уж гниль. Отпустив беззвучно разевающего рот пацана, который тут же на четвереньках отполз к моим любимым опилкам, я еще раз прикинул расстояние до потолка – и принялся рвать рясу на полосы. Отчаяние придало мне силы: срывая ногти и помогая себе зубами, я справился за несколько минут. Связал полученные полосы по двое, потом – между собой. Подергал, что было сил. Выдержит?

Будет на то воля Сестры – выдержит…

Я потер щеку – она болела, и вроде как даже вкус крови был во рту. Неужто ухитрился зуб расшатать, паршивец? Нет, похоже щеку прикусил.

– Лопнет веревка! – плаксиво сообщил мальчишка.

– Тогда стану из тебя веревки вить. – Я поднял башмак, привязал к концу веревки. Примерился и бросил в люк. С первого же раза башмак застрял на решетке. Я осторожно повис на веревке – держит…

Малолетний тюремщик с воплем бросился на меня, повис на ноге – я едва успел отцепиться. Его небольшой вес мог

послужить той последней каплей, что переполнит чашу.

– Тебя убьют, убьют! – колотя меня кулачками по груди, кричал мальчишка. Тоже мне пророк…

Рукавом рубашки я заткнул ему рот, а порванной рубашкой связал руки и ноги. Накрепко, уж узлы вязать я умею.

Уложил на опилки – зверствовать не к чему, зачем простужать мальца? И вернулся к веревке.

Сейчас – или никогда…

Веревка потрескивала, но держала. Я лез, пытаясь двигаться как можно более плавно, но притом быстро. Решетка немного накренилась, но вроде бы застряла в проеме надежно.

Наконец я смог протянуть руку – и вцепиться в край люка. Еще мгновение – и выбрался в коридор. Голый, грязный, страшный, трясущийся от возбуждения и, чего скрывать, страха.

– Спасибо, Сестра… – еще раз прошептал я, глядя в темную дыру, где едва угадывался ворочающийся на опилках мальчишка.

Факел торчал из выемки в стене и, похоже, собирался скоро догореть. Под ним стояла корзина с остатками снеди – не я один обитал в каменном мешке, валялась связка из трех ключей и благословенное яблоко. Я поднял его, отер о тряпицу, которой были прикрыты пайки в корзине, откусил.

Кислое. И совсем невкусное.

С факелом и ключами в руке, с веревкой вокруг пояса, я

пошел по коридору.

Не прекращая грызть яблоко.

На все решетки в коридоре был один ключ. Я открыл одну, за которой заметил шевеление. Позвал. Присел, вглядываясь в темноту и покрепче держась – не поймали бы меня на собственном приеме!

Но человек, распростершийся на тонком слое чего-то слежавшегося, когда-то бывшего опилками, не реагировал. Тупо смотрел на меня, сжимая в руке надкушенный кусок хлеба. Потом медленно повернулся спиной, съежился и продолжил есть. Он весь был в грязи, длинные волосы прикрывали спину до лопаток.

Ему уже не помочь. Его под руку выведи из темницы – обратно поползет.

– Эх, святые братья… – прошептал я. – Лучше бы на плаху… все добрее.

На связке оставалось еще два ключа. Я подошел к двери, ведущей в комнату надсмотрщика, прислушался.

Тихо…

Подобрав ключ, я осторожно провернул его в замке. Ни скрипа, ни шороха – механизм был заботливо смазан.

Готовый и к схватке, и к бегству, я заглянул внутрь. От света трех факелов – четвертый недавно догорел и тихонько чадил – у меня заболели глаза. Да… привыкать придется. Меня сейчас на белый свет выпустить – хуже крота буду.

Надсмотрщик спал. Лежал в одном исподнем на нерас-

правленной койке, на спине, тихонько похрапывал. Человек как человек, когда глаза закрыты…

Я осторожно обошел комнату. Нашел небольшую дубинку – вряд ли предназначенную для усмирения узников, скорее крыс гонять. Но чем человек хуже крысы?

Подойдя к надсмотрщику, я без лишних церемоний огрел его по голове. Не в полную силу, спящего убить – это грех смертный, а чтобы на четверть часа, на полчаса вырубить.

Оказалось – слабо бил! Монах дернулся, открыл глаза и мгновенно выбросил вперед руку, целясь в шею. Я едва успел отшатнуться, иначе он разбил бы мне горло. И врезал дубинкой еще раз, теперь уж покрепче.

Сознания надсмотрщик не потерял, но обмяк. Я быстро связал ему руки, прикрутил к кровати. Рот заткнул тряпицей, валявшейся на неприбранном столе. Там же был и кувшин с остатками вина. Глотнул чуток – голова закружилась. Крепкое винцо монахи пьют!

Подтащив к койке стул, я уселся и спросил:

– Ну что? Кляп выну – будешь кричать?

Надсмотрщик смотрел на меня своими пустыми глазами и не шевелился. От него пахло спиртным – вот с чего он сынка арестантов кормить послал…

– Подумай, – предложил я. Пошел к рукомойнику в углу, смочил полотенце и обтерся с ног до головы. Остатки воды просто на голову вылил, тщательно рясой надсмотрщика вытерся. Вроде бы и умывался в камере каждый день дармовой

водичкой, а все равно кажется, будто грязью с головы до ног покрыт!

В шкафу нашлись еще две рясы, бельишко, пара штанов. С каким же удовольствием я оделся! Это только в постели или на пляже приятно голым поваляться. Накинув на голову капюшон, я подошел к своему тюремщику. Тот уже немного отошел, подергивался.

– Будешь говорить? – спросил я. И уточнил: – Тихим голосом?

Он энергично закивал, и я вынул кляп.

– Душегуб… – прошептал надсмотрщик.

– Очень приятно, Ильмар. Ну так что? Жить хочешь?

– Где мой сын?

Не за себя волнуется… значит, есть у него что-то человеческое в душе.

– В камере. Живой он, живой.

Надсмотрщик кивнул. Что-то уж больно по-доброму я с ним!

– Лежит на опилках, связанный… – добавил я. И приврал: – А сток заткнут. Как ты думаешь, часа за три наберется столько воды, чтобы мальчонку с головой покрыть?

– Ду… – заревел было монах, но я мгновенно прикрыл ему рот ладонью. Через пару мгновений надсмотрщик одумался, перестал дергаться, и я убрал руку. Сказал:

– А еще я думаю, что вовсе не надо трех часов ждать. Вода-то ледяная. Полчаса, час – да и высосет все тепло.

Он молчал. Думал.

– Хочешь жить сам и сына спасти?

– Мне уже не жить… – бесцветным голосом сказал монах.

– Неужто святые братья казнят друг друга за провинности?

– Кто в чем повинен, тот такое же наказание и примет… – прошептал тюремщик.

– На мое место попадешь? – понял я.

Надсмотрщик размышлял.

– Тебе решать, – сказал я. – Мне все одно. Так и так в бега уйду. Получится – хвала Сестре, схватят – живым не дамся. От тебя одно зависит, что с тобой и твоим сынком станет.

– Мне не жить… – вяло сказал надзиратель.

– А ты до этого жил? – почти весело спросил я. Вроде и торопиться мне надо было… но сидела внутри какая-то злобная жажда поглумиться над поверженным врагом.

Монах посмотрел мне в глаза и вдруг кивнул:

– Нет. Я уж лет десять, как умер. Твоя правда, вор.

Все желание издеваться над ним пропало.

– Объясни, как бежать отсюда, – сказал я. – Тогда сток открою, будет жить твой сын. И тебя не трону, связанным оставлю – и все.

– Разве ты моим словам поверишь? – тяжело спросил монах. – Да и объяснить это… ночи не хватит.

– Тогда прощай, – сказал я. Потянулся за кляпом.

– Про сток ты наврал, – неожиданно сказал монах. – Знаю,

что наврал, глаза тебя выдают. Жив мой сын?

Я бы ему и так сказал, что ничего ребенку не грозит, конечно…

– Живой он, – признался я.

– Убей его, душегуб.

– Что? – Едва я руку удержал, чтобы не огреть его дубинкой за такие речи.

– Вина на нем, душегуб. Я с ума не сошел, чтобы послать сына волков кормить. Видно… видно, понял, что я пьян. Или над тобой поглумиться решил. Найдут его в камере, меня здесь… все поймут. Меня в монастырь на севере, за недосмотр. Его – в камере и оставят. Лучше убей его, Ильмар-вор. Пусть этот грех на мне будет.

– Что ж вы, святые братья, способны такого мальца в зиндан упечь? – Я не поверил своим ушам.

– Он не малец, он святой брат, как все мы…

Вот уж не было печали!

Когда бежишь, когда дерешься – тут все едино. И если б пацан шею сломал, в камеру падая, принял бы я этот грех. Но вот так, уйти, зная, что мальчонка сгниет заживо в каменном мешке!

– Не смогу убить, рука не поднимется, – прошептал я. – Вор я, а не душегуб! Понимаешь? Вор!

Надсмотрщик застонал. От той боли, что разрывает сердце, а не от ударов моей дубинки…

– Как тебя звать? – спросил я.

– Йенс.

– Йенс, я развяжу тебе ноги. Доведу до камеры. Прыгнешь туда. Подашь мне сына. Его я оставлю здесь, на койке. Объяснишь ему… что сказать, чтобы на нем вины не числили.

Монах смотрел на меня с растерянным недоумением. Потом спросил:

– Зачем тебе это?

– Да затем, что не душегуб я!

– В шкафу пол двойной, – помолчав, произнес Йенс. – Подними доску, под ней тайник. Там нож есть и немного железа. Нож плохой, и монет немного… но тебе все равно сгодятся.

– Спасибо, – теперь растерялся я.

– Не благодари. Я тебя об одном прошу… когда схватят тебя – заколись. А то на пытке расскажешь, как все взаправду было.

– Уверен, что схватят?

– Уверен, – коротко сказал надсмотрщик. – Снимай с ног веревки.

Через пару минут мы уже подходили обратно к моей камере. Йенс шел впереди, чуть покачиваясь, вряд ли от похмелья, скорее от моих ударов дубинкой. Я шел следом, с ножом в одной руке и дубинкой в другой. Когда мы остановились над люком, пацан радостно замычал, дергаясь на опилках. Видно, решил, что его отважный отец душегуба скрутил да и ведет обратно. А как увидел, что на самом деле я с оружи-

ем, затих.

– Не поднимешь на меня руки? – спросил я монаха. Тот посмотрел вниз, в вонючую темную дыру, кивнул:

– Не подниму.

– Нет уж, святой брат. Клянись! Сестрой-Покровительницей, Искупителем, верой своей клянись! Что не попытаешься мне вреда причинить или в камеру обратно спихнуть!

– Клянусь, что не причиню тебе вреда и в камеру не брошу. Искупителем и Сестрой его клянусь тебе в том, Ильмар.

Теперь у него и голос стал мертвым, как раньше глаза. И то сказать, он сейчас смотрел в камеру, где теперь ему придется жизнь доживать.

– Хорошо, – сказал я. Рассек ножом веревку на руках, отступил на шаг, готовый ко всякой беде. Йенс медленно растер запястья. Посмотрел на меня, спросил:

– А откуда ты знаешь, может, я время тяну, ужасами тебя пугаю? А сейчас придет сменщик, да и конец тебе?

– Тогда это судьба, – сказал я. – Только не зря же Сестра сказала: «Не знаешь как поступить, поступай по-доброму».

Йенс скривился в странной улыбке. И прыгнул вниз.

Я подошел к люку. Подождал, пока надсмотрщик развяжет ревущего пацана, вытрет ему сопли и отвесит оплеуху. Сказал:

– Давай, подавай наверх.

– Подожди! – резко отозвался Йенс. Заговорил с сыном, тихо и быстро что-то ему объясняя. Один раз пацан попро-

бовал вякнуть что-то поперек, получил затрещину и стих. Потом, подхватив мальчишку под мышки, Йенс подошел к люку. Поднял пацана на вытянутых руках.

Тот еще брыкался, сволочь! Не хотел, видишь ли, свободу из рук душегуба принимать!

Пришлось тоже подзатыльник для успокоения применить. Крепко держа мальчишку за руку, я сказал:

– Ну что, Йенс. Не держи зла. Прощай.

– Схватят тебя… – произнес монах. И вдруг посмотрел на меня с какой-то искоркой жизни. – Хочешь выведу?

– Не желаешь тут гнить? – спросил я. – А с чего мне тебе верить?

– Не с чего.

Несколько секунд колебался я, проклиная себя за нерешительность. В одном Йенс прав – даже в одеждах монаха трудно выбраться из Урбиса. Не знаю я здешних порядков, приветствий, даже дороги не знаю.

– Привязывай! – Я протянул пацану веревку. – Йенс! Выдержит тебя веревка – твое счастье.

Сопя и снова хныкая, мальчишка привязал веревку. Плохо привязал, скользящим узлом. Я покачал головой, но вмешиваться не стал.

Йенс осторожно взялся за веревку. Посмотрел вверх. Глотнул – качнулся под кожей кадык. И стал взбираться. Быстро, рывком.

Узел все-таки выдержал, а вот веревка затрещала. В по-

следний миг Йенс успел выбросить руку, уцепился за решетку, повис. Решетка накренилась, медленно опускаясь в люк. Пацан взвыл, схватил отца за запястье, попытался потянуть.

– Уйди… – прохрипел тюремщик. – Уйди, дурак!

– Да чтоб вам в аду леденеть! – крикнул я и, нагнувшись, потащил Йенса вверх. Понимая, что делаю глупость. Что ему сейчас стоит схватиться за меня и утащить за собой в камеру? А сынок приведет стражников…

Рыча, сжимая зубы, Йенс выкарабкался из люка. Отполз на шаг.

– Страшно там? – спросил я.

Йенс молчал. А сволочной пацан попытался пнуть меня под коленку. Хорошо, что этой пакости я ждал, отвел ногу – и вмазал ему очередную затрещину.

Следующую он получил от отца.

– За добро не платят злом… – прошептал Йенс.

– Он душегуб! – пискнул пацан. – Отец, тебя накажут!

– Он вор… – тихо сказал Йенс. – Идем.

Снова вооружившись дубинкой и ножом, я пошел за ними. Впритык, чтобы не успели дверь в коридор захлопнуть.

Но они не пытались это сделать.

В комнате Йенс дал пацану ночную рубашку, а потом собственноручно связал сына. Крепко связал, я наблюдал. Сказал:

– Ты спал. Ничего не знаешь. Проснулся, когда душегуб тебя ударил и связал. Понял?

Пацан ревел.

– Не ори, тебе ничего не будет, – сказал Йенс устало. Взял тряпку, что и ему кляпом послужила, заткнул сыну рот. И все – больше даже не посмотрел в его сторону. Оделся сам, потом подошел, несколькими движениями оправил мою одежду. Трудное дело – в рясу облачаться без опыта… Обронил: – Капюшон… и нож спрячь. Иди не спеша. Молчи.

И двинулся к двери.

Глава третья,
в которой я придумываю удивительную похлебку, но никто не спешит ее попробовать

Йенс шел впереди, я следом – пряча в рукаве нож. Не было у меня веры Йенсу, да и быть не могло. И уж если предаст, то первым и погибнет.

Коридор был пуст, дверь, ведущая в часовню, заперта.

Я, увидев, что Йенс слегка склонил голову, сложил руки святым столбом и мысленно возблагодарил Искупителя. За то, что строгий взгляд отвел в сторону, за то, что шанс мне дал.

Никогда ведь такого не бывало, чтоб человек из церковных застенков сбегал! Отпускали – бывало. Миловали высочайшим указом, например, если в повинном военачальнике нужда у Державы возникла – тоже случалось.

Но чтобы человек убежал – никогда не слышал!

– Сейчас будут три поста, – сказал вдруг Йенс. – Первый пройдем легко. Только не говори ни слова.

– А второй и третий?

– Третий тоже пройдем. Если второй пропустит. Думаю я, не мешай.

Когда меня вниз тащили, постов я и не приметил. То ли

моих конвоиров хорошо знали, то ли вниз пройти легче, чем наружу выйти…

– Шаг мельче и ровнее… – напомнил Йенс. – Остановлюсь – тоже стой. Пойду – иди следом.

Первый пост был так неприметен, что я бы точно мимо прошел, сразу подозрения охраны вызвав. Это была ниша в стене коридора, и там, за маленьким столом, без всякого света, сидели трое монахов. Перед двумя на столе лежали арбалеты: с тупыми стрелами, которые обычно не убивают, а оглушают.

Перед третьим лежал лист бумаги и самописное перо, что почему-то еще страшнее казались, чем оружие.

– Мир вам, братья… – сказал Йенс, остановившись.

Стражники убрали руки с арбалетов.

– И тебе мир, датчанин, – сказал монах с пером насмешливо. Словно происхождение Йенса какой-то повод для шуток давало. – Как дела? Смирно твои сидят? Побегов не замышляют?

Все трое заулыбались.

– Замышляют, каждый день, – сдержанно ответил Йенс. – Кто сегодня на кухне?

Охранник скорчил недовольную рожу:

– Пьер… можешь не спешить…

– Храни нас Святой Себастьян от желудочных колик… – сказал Йенс.

Все три монаха заржали.

– Ты сегодня в ударе, Йенс! – сообщил охранник, что-то выписывая на бумаге. – Давай топай…

Следом за Йенсом я пошел дальше по коридору. Как только мы удалились от поста шагов на пятьдесят, тихо спросил:

– За кого они меня приняли? Почему не спросили ничего?

– Дальше по коридору, за тюрьмой, кельи для провинившихся монахов, – ровно сказал Йенс. – Они наказаны на различные сроки обетом молчания и одиночеством… но не так строго, конечно, как… как мои подопечные. Мне позволено брать кого-то из них в помощь, когда я иду за пайками. Я беру… всегда, даже если могу унести корзину один. Для них это в радость.

– Понятно… а второй пост?

Йенс остановился. Повернулся, кивнул:

– В том-то и дело. За второй пост им выходить нельзя.

– Сколько там человек?

– Пятеро. Ильмар, я не позволю тебе убивать своих братьев.

– Тогда придумай, как пройти без крови!

Он думал. Действительно думал. Знать бы еще, о чем…

– Ильмар-вор, ты знаешь галльский?

– Да.

– Хорошо?

– Никто не жаловался.

– Пошли…

Мы прошли еще по коридору, остановились возле уходя-

щего вбок прохода. Йенс сказал:

– Мне надо посмотреть, кто на втором посту. Нет ли там людей, знающих Пьера.

Я покачал головой:

– Нет, Йенс. Я твой план понял. Но не отпущу тебя одного. Рискнем.

– Тогда пошли на кухню… – без всякого удивления сказал Йенс.

Еще в коридорчике я почувствовал запах готовящейся пищи. И он мне не понравился.

Стукнув в дверь, Йенс вошел на кухню. Я – следом. Там было светло, ослепительно светло от нескольких газовых рожков. Посередине кухни стояла хорошая плита, тоже газовая, на ней булькали и пузырились кастрюли. За разделочным столом, с хорошим стальным ножом в руках, стоял этот самый Пьер – крепкий детина с младенчески невинным пухлым лицом, в белом переднике поверх рясы и грязноватом белом колпаке, лихо сдвинутом на затылок. Я на него был похож разве что ростом.

– О! Йенс! – радостно завопил Пьер. То ли он был глуховат, то ли просто предпочитал орать, а не разговаривать. – Ты рано, Йенс! Еще не готова похлебка!

– Да мы не за похлебкой, брат… – виновато сказал Йенс. Посмотрел на меня, спросил: – Голос запомнил?

Я кивнул.

Йенс резко развернулся и огрел Пьера кулаком по лбу.

– Ой-ля-ля… – грустно сказал повар и рухнул на пол. Я от удивления головой затряс, словно сам по ней получил. Никогда такого не видел, чтобы сраженный тяжелым ударом человек успевал что-то членораздельное сказать. Это разве что в пьесах герои успевают и Искупителю взмолиться, и проклятие выкрикнуть, и что-нибудь нравоучительное пискнуть. А в настоящей жизни – шиш! Разве что обрывок бранного слова вместе с соображением вылетит…

– Крепкий… – Йенс тоже был удивлен. – Ой-ля-ля, крепкий…

Объяснять мне ничего не требовалось. Вдвоем мы быстро стянули с Пьера рясу, передник, колпак. Затушили плиту – не то погаснет огонь, и отравится галлиец газом. Связали Пьеру руки и ноги.

– Рот можно не затыкать, – решил Йенс. – Все равно никто воплей не услышит. А он вечно гнусавит, нос у него плохо дышит, может задохнуться от кляпа.

Закончив переодеваться, я спросил:

– Похож?

Йенс с сомнением смотрел на меня. Покачал головой:

– Нет. Разве что для того, кто Пьера один раз видел, да и то в темноте.

Я сдвинул колпак на затылок. Взял поварской нож, обрезал со лба слишком длинные волосы, чтобы хоть чуток короткую стрижку монашескую напоминали. Сказал:

– Ты рано, Йенс!

Закусив губу, надсмотрщик взирал на меня. Пожал плечами:

– Голос похож… Не знаю. Пьера перевели к нам недавно, в наказание. Может быть, и не узнают.

– На вся воля Сестры и Искупителя. Знаешь… давай-ка еще…

Я снял с плиты кипящую там кастрюльку. Понюхал. Гадостный супчик, но не совсем уж мерзкий.

– Где здесь помойное ведро? – выплескивая половину кастрюли в медный котел с тушащейся капустой, спросил я.

– Вот…

– Лей доверху.

Сморщившись от отвращения, Йенс поднял крепкое дубовое ведерко и щедро плеснул в котелок. Вышло замечательно! От одного вида этого супчика – с картофельной шелухой, луковыми шкурками, какими-то совсем уж безнадежными обрезками мяса и жил, подозрительного вида лохмотьями чего-то совсем странного – блевать хотелось.

– Господи, пару раз он что-то такое и подавал… – прошептал Йенс.

– Пойдешь впереди, – велел я. – Ну и ругайся…

– Понятно.

Едва мы вышли в основной коридор, как Йенс возвысил голос:

– Это еда? Это суп? Свинья не станет есть такие помои!

– Ой-ля-ля! – воскликнул я. Уж очень запомнился мне

прощальный выкрик Пьера. – Это суп! Это галлийский луковый суп! Вкусно!

– Вкусно? Попробуй сам! Съешь при мне тарелку этого супа! – ревел Йенс. – Даже арестантов нельзя кормить помоями! А ты сварил это для нас! Для своих братьев! Никто не будет такое есть!

– Это можно есть! – отбивался я. То ли в образ вошел, то ли азарт охватил, но мне и впрямь хотелось переспорить Йенса. – Горячий суп! В Галлии все едят такой суп!

– Никто не станет это есть! Тут помои! – Йенс потряс котелком, выплескивая горячую жижу на пол. – Пусть брат Луиджи посмотрит на это!

В яростной перепалке мы и дошли до второго поста. Это тоже была ниша в стене коридора, но внушительная ниша, и там стояло два ярких ацетиленовых фонаря. Пятеро монахов зачарованно взирали на наше маленькое шествие.

– Посмотрите, что он сварил! Душегуб! – яростно закричал Йенс, брякая котелок на стол перед охраной.

– Спаси Сестра, – прошептал один из монахов, складывая руки лодочкой. – Какой кошмар…

Кто-то, самый любопытный, наклонился к кастрюле. Йенс поднял ее, почти утыкая монаху в нос. Уж не знаю, что он там узрел, но лицо его позеленело, он схватился за горло и бросился вон – в маленькую дверку в нише.

– Я хочу, чтобы брат Луиджи увидел это! – крикнул Йенс. – И пусть Пьер сам съест свои помои!

Сообразив, что зря перевел внимание на меня – монахи начали было поднимать головы, Йенс крикнул:

– Тут плавают черви! Большие черви! И мы бы это ели!

Видно, хорошо кормили святых братьев в Урбисе – новость оказалось для них слишком тяжелой. С перекошенными лицами они отстранились от Йенса, трясущего котелком и старательно заслоняющего меня спиной. Эх, попробовали бы каторжной баланды…

– Я сам все объясню брату Луиджи! – крикнул я и быстро пошел вперед. – Сам, ой-ля-ля! Брат поймет!

– Нет уж, мы пойдем вместе! – завопил Йенс и бросился за мной. Шокированные монахи нам не препятствовали. Кажется, их больше занимало, когда же освободится туалет, из которого доносились понятные звуки.

Когда мы ушли от поста, Йенс хрипло сказал:

– Тебя спас этот котелок… тот брат, которого стошнило, прекрасно знает Пьера. Вечно у него кусочничал, добавку выпрашивал…

Я молчал, переводя дыхание. Мы прошли еще несколько шагов, когда сзади донесся топот и послышался крик:

– Постойте, братья! Йенс, Пьер, стойте!

Нас догонял один из монахов. Но именно один…

– Что? – спросил Йенс, поворачиваясь.

– Надо же расписаться! – Монах помахал бумагой. – Давайте…

Йенс поставил котелок на пол, молча взял лист, повер-

нул монаха спиной – тот покорно встал, упершись руками в стену, нацарапал роспись. Пальцем показал мне, где ставить роспись. Внимательно посмотрев на роспись Пьера – ничего особенного, закорючка с завитком, я скопировал ее.

– Чтоб тебя, Йенсу, в яму упекли! – злобно пожелал монах, поворачиваясь и даже не глянув мне в лицо. – Отравитель…

Третий пост был уже на выходе из подземелий. Даже окна, пусть и зарешеченные, здесь имелись! Был он самым большим, и дежурили тут не только монахи, но и стражники из церковной гвардии, с нулевиками, мечами и прочим смертоносным оружием.

И как всегда бывает на посту, где смешаны две власти, на нем царил бардак.

Я к тому времени уже избавился от поварского фартука и колпака, Йенс – от котелка с бурдой. Мы просто молча подошли к монаху с книгой записей и поставили росписи о том, что вышли из подземной части Урбиса.

Не удержавшись – все равно никто не смотрел на нас, я оставил свою настоящую роспись. Монах кивнул и повернулся к приятелям, которые увлеченно играли с гвардейцами в азартную и не слишком-то поощряемую Церковью игру «корова».

Миновав двух алебардщиков у двери, тоже зачарованно взирающих на веселящихся товарищей, мы вышли на ули-

цу. Я остановился, осознав наконец-то, что бегство удалось. Или почти уже удалось – на выходе из Урбиса пропусков не спрашивают.

Был поздний вечер, солнце уже почти село. Молодые послушники с факелами шли по тротуару, зажигая газовые фонари. Почти все здесь были монахи, но встречались и мирские люди – то ли работающие в Урбисе на какие-то церковные нужды, то ли пришедшие на исповеди, службы, за советом и помощью. Тут ведь не только канцелярии да подземные тюрьмы, тут еще лечебницы церковные, консистория, самый крупный в Державе собор – Святого Иуды Искариота, да и опера местная, ставящая исключительно библейские постановки, на весь мир славится.

И все-таки пока я был в западне. Пусть открытой настежь, но в западне. Стоит лишь монахам найти связанного Пьера, или сына Йенса – и все. Через десять минут все выходы будут кордонами закрыты.

– Спасибо тебе, Йенс, – сказал я. – Куда идти теперь?

– Пять минут до ворот Святого Патрика. – Йенс кивнул. – Идем.

– Значит, решил? Бежишь тоже?

– Бегу, – кивнул Йенс.

Мы зашагали по улице, легкими кивками раскланиваясь со святыми братьями, по-пасторски осеняя мирян святым столбом. Йенс негромко сказал:

– Самому не верится… что вышло.

– Думал, схватят?

– Уверен был.

– Ты сам-то часто из подземелий выходишь, Йенс?

Он ответил не сразу:

– Нет.

– Запрещено?

– Сам не рвусь…

Впереди уже были видны ворота – широко, приветливо открытые, у которых дежурили стражники и монахи. А за воротами – вроде бы такая же точно улица… только это уже Рим.

– И куда пойдешь, Йенс? – спросил я.

– Не знаю.

– В Данию, на родину, отправишься?

– Нечего мне там делать.

Чем ближе мы подходили к воротам, тем потеряннее выглядел Йенс. Что сказать – я-то всю жизнь был вольной птицей, но и в тюрьмах приходилось обитать. Попал в камеру – не беда, бежал – снова в родной стихии. А Йенс, замурованный вместе со своими узниками, был к свободе непривычен.

– Ты мне помог, что уж говорить, – быстро сказал я. Не хватало, чтобы нервность Йенса привлекла внимание охранников. – Теперь снова за мной должок. Я тебе помогу на воле скрыться.

– А от ада тоже скроешь? – Губы Йенса дрогнули в презрительной ухмылке. Но все-таки он собрался, зашагал твер-

же.

– Все там будем. А пока ты – живой. И сын твой не пострадает. Зачем раньше времени горевать?

Мы миновали ворота – никто на нас и не глянул, тревоги пока не объявляли.

– Зачем горевать… – задумчиво сказал Йенс. – Не в том дело. Мне уже все едино… но тебя, вора, я на свободу выпустил. Стоил ли я того… и я, и сын…

Ох уж мне эти моралисты! Вначале святость свою блюдут. Потом, как дело серьезно встанет – об их шкуре, к примеру, или о тех, кто им дорог, – всю мораль забывают. Но только опасность проходит – снова за старое! А не согрешил ли я… а как бы мне покаяться… Почему же это так выходит – кто в жизни особым благочестием не отличается, тот в минуту опасности, напротив, такое совершает, что дивишься. Знал я одного вора, человека гадкого во всех отношениях. Женщину легко мог обидеть, у сирот последнее украсть, даже своего брата, вора, обмануть – а это совсем край. Но вот однажды, в глухой пьяной сваре, когда запальчивые каталонские парни схватились за ножи и брызнула кровь, – бросился между всеми, разнимая. Там и остался. И словно всех этим отрезвил – дальше разошлись миром… а могли все полечь, и я бы там полег тоже, все к тому шло.

Что же это такое, человеческая душа? Если можно всю жизнь прожить по заветам Церкви и законам Державы, а в трудную минуту и трусость проявить, и слабодушие? Или,

наоборот, жить зверь зверем, а в какой-то миг выплеснуть из себя благородный поступок?

Может быть, просто налипает на душу все, чему человека учат, к чему направить пытаются? И эту-то скорлупу, порой из грязи, а порой из розовых лепестков, мы за душу и принимаем. А душа… настоящая… она где-то там, под скорлупой, спит тихонько. Пока не тряхнет жизнь так, что корка осыпается.

Только что же тогда? Каким родился, таким и умрешь? Ничего не зависит от тебя, ничего не зависит от мира? А как на том свете Искупитель судить человека будет? По делам его? Так они только кора, грязь и мирт вперемешку! По душе его? Так ее не изменить… и правильно ли будет, что душегуб, чья душа на самом деле чистенькая и благостная, ада избегнет, а человек с гнилой душонкой, но от страха и лицемерия зла никогда не совершавший, в вечные льды попадет?

– Не знаю я, Йенс, – сказал я. – Ничего я не знаю и ответить не могу. Может быть, ты зря поперек Церкви пошел… зря за себя и за сына испугался… не надо было мне помогать, и пусть бы сгнил я в яме, по соседству с твоим пацаном. А может быть, ты своим поступком, наоборот, зла избег. Одно скажу: я не душегуб, что невинных людей режет. Не святой, но и не душегуб.

Он посмотрел на меня – в глазах теперь не было мертвой пустоты, там боль была. Но уж лучше боль, чем пустота. Выдохнул:

– Если бы я знал…

– Знать нам не дано. Но без воли Искупителя и Сестры его ничего на земле не делается.

– Так то на земле, а мы под землей были.

Я прошел еще шагов пять, прежде чем понял, что он пошутил. И даже растерялся: что же теперь делать?

– Ну… так мы ведь вышли… Хотел бы Искупитель снова нас с глаз долой убрать – схватили бы в воротах.

– Тебе бы схоластику преподавать, Ильмар…

– А что ее преподавать? Ей жизнь учит.

Мы шли узкими, кривыми тротуарами, словно разрастающийся все время Урбис оттеснял от себя обычный Рим, сдавливал дома и улицы. Иногда проезжала, медленно и неуклюже, карета, но в основном люди шли пешком. И никто за нами не гнался.

– Йенс, я знаю тут одно местечко… – начал я. – Надо нам переодеться. В мирское.

– Идем… – согласился Йенс. Ему явно делалось все хуже и хуже – среди людей, среди открытых пространств.

– Только сам я туда не сунусь. Знают меня там, понимаешь? Сообразят, что Ильмар Скользкий убежал из Урбиса.

– Ты что же, думаешь, кто-то знает, что Церковь тебя схватила? – удивился Йенс. – Тайна это. Человек десять – двадцать, пожалуй, знают. Не удивлюсь, если и Владетелю не сообщили.

– Тогда тем более туда дороги нет. Продадут меня вмиг. А

вот тебя не выдадут. Мало ли зачем монаху мирская одежда и грим. Да… тем более решат, что никакой ты не святой брат, а вор, монахом прикинувшийся.

– Теперь так оно и есть, – согласился Йенс.

Рим я знал плохо, но все-таки через час мы вышли к площади Одиннадцати Раскаявшихся. Примечательна она была скульптурной группой, в центре возвышающейся: одиннадцать римских солдат, упавших на колени и ниц, протягивающих руки к тому, кого изобразить скульптор не дерзнул. Скульптуры были славные, изваянные самим Микеланджело, по особому разрешению Пасынка Божьего. С одной стороны, не пристало статуи апостолов на площадях ставить, на радость голубям, но с другой – ведь тогда Одиннадцать Раскаявшихся еще не стали апостолами вместо одиннадцати проклятых вероотступников. Вот и появились на площади римские солдаты, уже осененные невидимой благодатью, но еще не ставшие рука об руку с Искупителем.

– Вон тот дом, – указал я Йенсу. – На первом этаже, там актерская лавка, и костюмы любые, и грим…

– Откуда деньги? – горько усмехнулся Йенс.

– Вместо денег скажешь – да любому, хоть продавцу, хоть хозяину: «Старик Балтазар меня послал. Просил забрать заказ на двоих, что на той неделе делал».

Йенс недоуменно посмотрел на меня.

– Хозяин – сам бывший вор, – объяснил я. – Платят ему – и немало – за то, что всех с этими словами приходящих он

снабжает одеждой, гримом и толикой денег. Во всех крупных городах такие лавчонки есть.

Мне показалось, что бывшего – чего уж греха таить, и впрямь бывшего – монаха хватит удар. Неужто он думал, что воровская братия – одиночки, и нет у нас общей казны, общих законов и сходок?

– Тебя спросят только об одном, – продолжил я. -«Какой заказ?» Ответь… как считаешь, кем нам нарядиться лучше?

Йенс неуверенно пожал плечами. Ох, намучаюсь, если придется долго с ним пробыть!

– Скажешь… – Я заколебался. – Скажешь, что костюмы для купца и приказчика.

– Теперь я и впрямь твоим слугой буду, – пробормотал Йенс.

– Нет, ошибаешься. Приказчиком я оденусь. Купцу в дороге можно щеки надувать и молчать важно. А вот приказчику суетиться придется. Иди, Йенс.

Он все еще медлил.

– Если нас схватят, – слегка надавил я, – то будут пытать. Меня-то уж точно! А тогда, сам понимаешь, все раскроется. И считай, что не спас ты своего сына, не спасся сам и меня угробил. К чему тогда было из подземелий выбираться, беднягу Пьера по башке бить?

– Уж его-то точно стоило огреть, за его стряпню… – пробормотал Йенс. И двинулся к лавке довольно уверенной походкой.

Я вздохнул и отошел к скамейке. Если все пройдет гладко, то через час мы будем трястись в дилижансе, удаляясь от Рима. А если нет…

Опустив руку под рясу, в карман штанов, я потрогал лезвие ножа. Плохой нож.

Но себя убить я сумею. Лучше ад, чем каменная яма.

Дорога от Рима к Лиону – без малого тысяча километров. Но дорога хорошая, ей еще и века нет. Каменные плиты уложены ровно, стык в стык, по ширине – даже два больших дилижанса разъехаться могут, а кое-где, когда дорога проходит мимо крупных сел и городков, вместо плит выложен новомодный асфальт.

Что бы делала Держава без хороших дорог?

Наверное, на провинции бы распалась. Ведь сейчас путь от Рима к Лиону, на хорошем дилижансе, с восьмериком лошадей, которых на каждой станции меняют, занимает меньше полутора суток. А попробуй верхом это расстояние одолеть?

Денег у нас было немного. Три стальные марки, что Йенс в своем тайничке прятал, да десять марок, которые нам на двоих перепали от хозяина актерской лавки. И двенадцать марок я, недрогнувшей рукой, отдал за билеты третьего класса в самом лучшем дилижансе, уходящем в Лион.

Одно радовало – в третьем классе никто, кроме нас, не ехал. Вся крыша дилижанса, огороженная деревянным бортиком и со скамейками на двадцать человек, была пуста. По-

скольку ночью начал моросить мелкий противный дождик, то и люки, ведущие на крышу, закрыли. Сидели мы в полном уединении, и за грохотом колес даже возница с помощником не мог наш разговор слышать.

А говорить хотелось. Кутаясь в плащи – у меня попроще, у Йенса – побогаче, пусть и ношеный, сидели рядышком, словно закадычные друзья. И рассказывал я своему бывшему надзирателю… да, считай, все рассказывал. Про каторгу. Про то, как узнал, что у мальчишки Марка есть Слово, и на том Слове – кинжал, для бегства необходимый. Как бежали мы с Печальных Островов… как ушел в одиночестве Маркус, воспользовавшись тем, что я подвернул ногу… а я лишь потом понял – моим товарищем был принц Дома.

Йенс слушал внимательно, иногда спрашивая что-то, уточняя. Наверное, разговор помогал ему отвлечься от тяжелых дум.

Когда же я закончил рассказом о засаде, ждавшей нас в Неаполе, о том, как Маркус взял на Слово все оружие, что было вокруг… попутно еще колесо от дилижанса и прочую мелочь прихватив, Йенс рефлекторно сложил руки святым столбом.

– Вот потому я и решил, Йенс, – сказал я, – что помогать Маркусу – мой долг. Он Искупитель, вновь пришедший к нам. Новый Искупитель.

– Почему же Церковь ловит его? – спросил Йенс. – Или ты хочешь сказать, что Пасынок Божий преступил через веру

ради собственных благ?

Быстро схватывает…

– Нет, Йенс. Наверное, они считают, что Маркус – самозванец. Или хуже того – Искуситель.

– Храни нас, Господь… – прошептал Йенс. – Если так… Что ты сам думаешь?

– Я не знаю. Теперь уже и не пойму.

– А что решил делать?

– Найти Маркуса. Быть рядом. Понять… и попытаться его остановить, если и впрямь…

Я не договорил.

– Ты и впрямь верующий человек… – с легким удивлением произнес Йенс. – Не простой вор…

– Я вор. И кровь на моих руках есть. Но я верую, и я не хочу, чтобы Искуситель пришел в мир с моей помощью!

– Как ты поймешь, кто он на самом деле? – спросил Йенс. – В прошлом толкователи считали, что имя Искусителя должно составить число зверя – шестьсот шестьдесят шесть. Но гематрия себя не оправдала. А по делам своим Искуситель будет выглядеть достойно и добро. Ты лишь запутаешься еще больше, Ильмар!

– Да, наверное… – уныло признался я.

– А где ты собираешься искать Маркуса?

Я усмехнулся. Йенс спросил:

– Не веришь мне?

– Конечно, не верю. Может быть, и побег наш – подстроен.

И ты на самом деле – очень ловкий агент Церкви, святой паладин, навязанный мне в спутники.

Йенс кивнул и сказал:

– Вот видишь, Ильмар? Ты даже во мне, простом человеке, разобраться не можешь. Кто я такой, добро тебе несу или зло. А хочешь разобраться в Маркусе, который либо наш мессия, либо его заклятый враг. По силам?

Я молчал.

– Лучше бы ты остался там, в яме… – вдруг изрек Йенс. – Честное слово, легче бы тебе было.

– Можешь вернуться и сам в нее забраться! – огрызнулся я. – Она тебя ждет.

Монах замолчал, сгорбился, кутаясь в плащ. Лица под капюшоном видно не было, и о чем он думает, я даже догадаться не мог.

– Без тебя мне в пути легче будет, – жестко добавил я. – Вздрагивать во сне не стану. Но я тебя не гоню… как-никак, а ты помог выйти. Одного же тебя схватят вмиг. Ты хоть домой податься можешь? Есть у тебя родственники, друзья?

– Были. Сейчас нет… наверное.

Он долго молчал. Дилижанс несся по дороге, лишь редко-редко щелкал в воздухе бич – глухо, мокро. Луч мощного карбидного фонаря метался по дороге, высвечивая бесконечную череду капель.

– Ты был прав тогда, вор, – сказал вдруг Йенс. – Мать моего сына была шлюхой. Обычной шлюхой. И не в монастыре

она… а где-то на улицах, как и прежде. Если бы мальчишка не вырос таким похожим на меня – я бы и не поручился, что он мой сын.

Вот так… Я даже не нашелся, что ответить.

– Она подкинула младенца к дверям типографии, – продолжил Йенс. – Я работал в типографии Мореплавателя Ионы, набирал тексты. Это очень важная работа, Ильмар. Стоит лишь одну буковку поставить не на место – и исказишь святые тексты… Но… среди нас не было настоящего смирения. Мы с друзьями порой уходили в город… и грешили. Многие. Не повезло лишь мне одному.

Он задумался, потом предположил:

– А может быть, повезло? Мой род не прервется… если, конечно, в послушании сын пойдет в меня. А та женщина… подкинула младенца и оставила записку – чей он сын. Это большой грех, я ведь давал обет безбрачия, когда только обратился к вере, и уверен был в своих силах. Разбирались долго… потом решили, что я буду отбывать провинность, работая в подземной тюрьме. Почти что узник… сам. И даже позволили видеться с сыном. И потом позволили ему стать послушником и помогать мне. Нельзя сказать, что наказание очень жестоко, ведь правда?

– Да, Йенс… наверное… – пробормотал я.

– Наказание справедливо, и я не роптал никогда, – твердо сказал Йенс. – Но вот когда понял, что мой сын навеки окажется в каменной клетке… Я сломался, Ильмар. Ты меня

сломал. И обрек на адские муки.

Может, мне и стоило ему правду сказать: «Да, ты обречен». Только есть такая правда, что хуже лжи. И я сказал убедительно, сам себе начиная верить:

– Разве, Йенс? А если то, что ты мне помог сбежать, – Господня воля?

– Ничто не делается без его воли, – тихо сказал Йенс. – Но выбор мы вершим сами. И он может быть неправильным. Неужто о попущении тебе объяснять надо?

– Не надо, Йенс. Но что нам сейчас важно? Найти Маркуса и понять, кто он – Искупитель или Искуситель. Если первое – помогать. Если второе – остановить. Не для того ли я угодил в застенки, чтобы это понять? И не для того ли ты меня вывел и сейчас рядом?

Йенс задумался. Сказал:

– Да, это может быть правдой. Если только ты, Ильмар, не стал уже верным слугой *Искусителя.*

– Тогда зачем мне брать тебя с собой? Воспользовался – и выбросил.

Йенс пожал плечами.

Да, не повезло с попутчиком. Нельзя мне с ним ехать – рано или поздно не выдержит груза сомнений, скрутит во сне – или огреет по голове дубиной да и потащит обратно.

Но и бросить просто так – жалко…

– Как же ты найдешь Маркуса? – вновь спросил Йенс. И эта настойчивость меня настораживала: вдруг и впрямь, весь

мой побег подстроен, и Йенс ловкий агент Церкви, и даже сын его – умелый не по годам лицедей. Хотя трудно поверить, что смог бы ребенок так талантливо играть, и вниз в камеру упасть бесстрашно, и дальше…

– Есть один человек, – неохотно открыл я часть правды. – Умный человек. Однажды он уже помог мне найти Маркуса. Может быть, сумеет помочь снова.

– И долго нам того человека искать?

– Нет, не долго. Завтра к ночи в Лионе будем, там переночуем… деньги я найду.

Йенс горестно вздохнул и свел руки, молясь. Дал понять, что знает, как я деньги добуду.

– Ну а послезавтра будем в гостях у умного человека, – закончил я. – Если жив он, конечно.

– Так долго ехать… – задумчиво сказал Йенс. – Я уже сейчас весь… словно избитый.

– Брось, Йенс. Здесь дорога хорошая. Вот дождик… но что поделать. Постарайся уснуть, утром все по-другому будет.

Я оказался прав – утром все было по-другому.

Во-первых, дождь кончился, словно и не бывало. Небо стало чистым и прозрачным, в последней попытке отвернуться от осенних туч. Даже потеплело малость. Во-вторых, к нам на крышу зачастили пассажиры – из окрестных деревень и городишек. Кому нужно было проехать десяток кило-

метров, а кому и сотню. К полудню я уже был при деньгах – причем честных, выигранных у какого-то мелкого чиновника и богатого крестьянина в буру. Причем играл без всякого шулерства. Что ни говори, наша, воровская игра, сколько времени за ней проведено – и в тюрьмах, и отсиживаясь по тайным убежищам.

Как только проигравшиеся сошли – мрачно, не прощаясь, будто им было кого винить, кроме себя, я карты бросил. Оставил играть по мелочи четырех парeньков, ехавших до Милана, в ремесленный цех поступать, а сам прошел к передку кареты, пихнул кучерского помощника, сунул ему пару марок и купил еды. Конечно, оно дороже, чем в придорожном трактире, да и хотелось горяченького, но терпеть больше сил не было. Кучер удивленно глянул на пассажира третьего класса, неожиданно раскошелившегося на еду, и даже выбрал бутылку поприличнее, хорошего года.

Мы с Йенсом жадно набросились на окорок, сыр, красношекие помидоры, сухое красное вино, почти свежий хлеб. Мир сразу показался веселее. Когда голод был утолен, я купил еще две бутылки вина, одну от щедрот будущим ремесленникам поставил, а вторую мы с Йенсом стали распивать: уже неторопливо, со вкусом.

– Знаешь, Ильмар, – негромко сказал мне Йенс, – что самое слабое в твоем плане?

– Найти… мальчика.

Говорили мы вполголоса, услышать нас никто не мог, но

на всякий случай я имен называть не стал. Йенс вроде бы тоже это сообразил.

– Допустим, мы найдем его…

Я отметил это «мы». Уже хорошо.

– Надо – найду. Не в первый раз.

– Как ты поймешь, кто он?

– Пока не знаю.

– Это самое главное. Я над этим думал… всю ночь.

Покосился я на Йенса – глаза красные, невыспавшиеся. Может быть, и впрямь думал…

– И что надумал?

– Тебе эту загадку не решить. И я тут не помощник.

Я ждал. Молча.

– Это должен решать кто-то, поумнее нас, – ободренный моим молчанием продолжил Йенс.

– Пасынок Божий?

– Возможно! Либо конклав кардиналов. Может быть, всех богословов надо собрать и задать им эту задачу!

– Хорошо придумал, Йенс, – пробормотал я. – Приволочешь обратно и Ильмара беглого, и Маркуса. Тут тебе все грехи простятся…

– Нет! – Йенс энергично замотал головой. – Нет и нет! Я не о том думаю. Клянусь тебе!

– Они, в Урбисе, все уже решили, – отпивая вино из глиняного стаканчика, сказал я. – И ничего заново решать не станут. Слово у мальчишки – выпытают… если сумеют. Не

сумеют – убьют. Вот и все.

– Пасынок Божий Юлий, что бы ты ни думал о нем, человек справедливый! – горячо сказал Йенс.

– Верю. Иначе меня не в застенки бы бросил, а в землю зарыл. Но против всей Церкви даже Пасынок Божий пойти не рискнет. Да и не только он такие дела решает.

Йенс замолчал. Либо согласился с моим мнением, либо понял, что спор вести бессмысленно.

– Давай возьмем еще вина? – предложил я.

И вот по этому вопросу у нас противоречий не возникло.

Удивительное дело – как сближают самых разных людей общий проступок, дорога и вино!

Подъезжая к Лиону мы с Йенсом уже сидели обнявшись, и то предавались воспоминаниям детства – как-то так оказалось, что и в городках мы похожих росли, и беды у нас были близкие, и мечты… только он по духовной части пошел, а я по воровской; то начинали горланить песни, которые с удовольствием поддерживали будущие подмастерья.

Остановился я лишь тогда, когда сообразил: деньги кончаются, скоро и на ночлег не останется, а в таком состоянии я малое дитя в карты не обыграю и у глухого разини кошелек не украду.

Мы ввалились в первую же попавшуюся гостиницу – грязную, дешевую и с подозрительным народцем в коридорах. Какой-то постоялец уж слишком доброхотно начал помогать

Йенсу по лестнице подняться, сам руку к карманам примеряя – я его в бок толкнул легонько и показал старый-престарый знак, означавший: «Уйди, я его пасу!» Воришка скривился разочарованно, но против обычаев не пошел – скинул Йенса мне на руки и удалился другого пьянчугу поджидать.

А мы, завалившись в комнату, попадали на кровати и уснули. Йенс еще порывался спеть песенку о богобоязненной девчонке, которую в монастырь не приняли, но свою любовь к Церкви она щедро, как Сестра заповедала, дарила святым братьям. Припев у песенки был такой веселый, что даже мне показался фривольным. Проорав очередной куплет, Йенс затих, будто патефон с лопнувшей пружиной, и мгновенно заснул.

Глава четвертая,
в которой мы слушаем слова о любви, а говорим о ненависти

Где-то в глубине души я боялся, что домик барона Жана, отставного лекаря Дома, встретит нас свежим пепелищем. Или заколоченными окнами и дверями – если Стража прозналась, что старик помог мне в поисках Ильмара.

Но нет, хранила Сестра дряхлого вольнодумца! Домик по-прежнему выглядел мирным, уютным и жилым. Покачивал ветер занавески в открытых окнах, на берегу речушки я приметил наполовину вытащенную лодку – прямо с веслами беззаботно оставленную.

– Может, и повезло нам… – прошептал я. – Как думаешь, Йенс?

Бывший надзиратель уныло кивнул. Вид у него был потрепанный – хоть и в Урбисе ему винцо перепадало, но вчерашняя попойка оказалась для Йенса тяжела.

– Давай подберемся тихонько к окнам, послушаем, – сказал я. – Мало ли… вдруг там засада.

– Откуда? – удивился Йенс. – Ты что, всегда такой подозрительный, Ильмар?

– Обычно – да. Потому и дожил до своих лет. Пошли…

Пригибаясь, мы побежали по лугу, заросшему высокой, в

пояс, травой. Вроде бы в окна никто не глядел и увидеть нас не могли.

Постояв немного у угла дома, мы перевели дыхание и тихо, совсем уж скрючившись, подобрались к одному из окон, приоткрытому немного. И тут же услышали голос. Я насторожился – голос был старческий, но никак на скрипучий и резкий, как у барона Жана Багдадского. Сильный голос и мягкий одновременно.

– Ты не прав, друг мой. Любовь – не жемчужное зерно, скрывающееся на морском дне среди тысяч пустых раковин. И не родник в пустыне, что поит крошечный оазис, и в любой миг может исчезнуть под барханами. Мы живем в мире, полном любви! Но люди ищут любовь, подобно тому, как ищут жемчуг на морском дне – задыхаясь, губя бесчисленные бесплодные раковины, навсегда исчезая под волнами. А если находят – считают себя прикованными к любви, как умирающий от жажды путник, что набрел на оазис – и боится сделать от него хотя бы шаг. Им кажется, они нашли жемчужину, и они сжимают любовь мертвой хваткой, подобно жемчугу, который умирает без тепла рук! Им кажется, они нашли родник среди песка, и они проводят дни и ночи на страже, разгребают дюны и закрывают родник своим телом от самого маленького ветерка! Им кажется, что стоит отвести взгляд – жемчуг исчезнет в чужом кармане, родник засыплет песком, и они вновь окажутся в одиночестве… А любовь больше всего не любит бдительного взгляда. Ты можешь посадить розу

в своем саду и чахнуть над ней, отгоняя гусениц и прикрывая от дождика. И роза станет расти для тебя одного, но стоит лишь сделать шаг в сторону – и она умрет!

Я заслушался. А вот Жан Багдадский – нет. Я услышал знакомый надтреснутый смешок и язвительный голос:

– Что ни говори, ты настоящий поэт. Но почему-то, когда в прошлом году я посадил десяток роз и оставил их без пригляда, они засохли к середине лета.

Неведомый собеседник лекаря не смутился.

– О да. Без присмотра – рассыплется пылью жемчуг, засохнет цветок и умрет любовь. В том-то и вся разница, что ты делаешь – надзираешь или ухаживаешь. Наш мир полон любви, а мы деремся за нее, как будто любви может не хватить на всех. Не хватить – хотя ее нужно всего лишь найти. Всего лишь увидеть! Однажды я встретил человека, который сумел это. Вначале улыбка не сходила с его лица. Он словно стал хранителем забытой тайны, он был одухотворен случившимся. Каждый, кто оказывался рядом, будто слышал далекую и прекрасную мелодию. Но ему не хватило веры в себя и свою любовь. Улыбка исчезла…

Послышалось негромкое бульканье.

– Благодарю, – на миг меняя тон, сказал незнакомец. – Не знал, что ты сохранил такое чудесное вино в этой глуши…

– Подобно тому, как умирающий от жажды хранит последний глоток воды в бурдюке посреди жестокой пустыни, хранил я это вино… – сказал Жан Багдадский, старательно

подражая его голосу. – Для тебя, мой любезный друг…

Он зашелся в приступе хихиканья.

– Врачебное ремесло портит людей, – мрачно сказал его собеседник, утрачивая изрядную долю поэтичности. – Зачем я к тебе приехал, позволь спросить? Чтобы ты надо мной издевался?

– Антуан. – В голосе Жана мелькнула тень раскаяния. – Я тебе неоднократно говорил: займись сочинительством, излагай свои мысли на бумаге! Но в обыденной жизни твои слова вызывают смущение. Понимаешь?

– Смущение? – возмутился тот, кого назвали Антуаном.

– Да, именно смущение. Тебе доводилось видеть, как наивно и выспренно может выглядеть искренняя молитва, бездумно перенесенная на страницы молитвослова? А здесь наоборот – слова, которые должны звучать для одного, звучать в душе, а не колебать воздух, вызывают неловкость. Почему ты не издал хотя бы свои сказки?

– Ну… если бы…

– Ты не решился раскрыть свою душу. Открыть раковину, в которой, возможно, скрывается жемчужина… – ехидно сказал Жан. – Еще бы! Прославленный летун занимается сочинительством романтических историй! Как можно!

– Жан…

– Что Жан? Кстати, воспеваемые тобой жемчужины вовсе не радуют раковину. Жемчужина – это болезнь, попытка моллюска защититься от попавшей внутрь песчинки!

– Сочинительство тоже болезнь, – тихо ответил Антуан. – Попытка души защититься от попавшей внутрь боли.

Жан вдруг замолчал. А потом сказал, совсем уж другим тоном:

– Ладно… прости меня, друг. Прости старого дурака. Мне очень грустно, что когда мы уйдем – а ждать этого уже недолго, – все твои истории уйдут вместе с нами. Истории про ночные полеты, про осажденные города, про войны в воздухе и мир на земле…

– Кому они нужны, эти глупые истории… – прошептал Антуан так тихо, что я едва расслышал.

– Моллюск не может судить, кому нужен его жемчуг.

Они замолчали. Я услышал тихое звяканье бокалов. Посмотрел на Йенса – тот ошарашенно смотрел на меня. И впрямь странные речи ему довелось услышать.

Я кивнул Йенсу, двинулся назад, к двери в дом. Монах молча следовал за мной.

У дверей я постоял миг, собираясь с духом, и постучал.

Открыли не сразу. Я так и представлял, как Жан, насторожившись, достает свой древний пулевик, заряжает, крадучись подходит к двери, смотрит в какую-то неприметную щелочку… и застывает в нерешительности.

– Тебе решать, впустишь нас или свинцом угостишь, – сказал я.

Дверь открылась.

Старый лекарь стоял, опершись на пулевик словно на ко-

стыль, и растерянно смотрел на меня. За его спиной стоял еще один старик – видно, тот самый Антуан. Высоколобый, абсолютно лысый, в отличие от Жана, и еще постарее, пожалуй. На удивление прямой, крепкий. Здоровенный ручной пулевик армейского образца он держал стволом вниз, но уверенно и крепко.

– Глазам не верю, – сказал Жан. – На старости лет, первый раз – не верю!

– Это… – вопросительно начал Антуан.

– Ильмар Скользкий. Который, как вчера объявляли, сбежал из застенков Урбиса! – Жан беспомощно развел руками, едва не выронив пулевик. – Что ж… входи… входите…

– Это брат Йенс, – представил я своего спутника. – Надсмотрщик застенков Урбиса… бывший.

– Грехи наши тяжкие… – вздохнул Жан. – Мир перевернулся. Входите.

Вино, которым Жан Багдадский своего друга угощал, и впрямь было отменным. Сухим, но не кислым, в меру терпким и ароматным, и при этом набравшим изрядную крепость. Глянул я на год урожая, скромно на этикетке выписанный, и лишь головой покачал.

Такое вино к столу Владетеля подавать.

– И зачем же вы пришли ко мне, злодеи? – спросил Жан. Тон был суровым, но что-то мне подсказывало – старик нашему появлению рад безмерно. Для таких, как он, прозябать

старость в теплой койке – хуже самой смерти.

– За помощью, – кротко ответил я. – Историю нашу ты теперь знаешь, почему Маркус из Версаля убежал – тоже. Я вижу, ты моим словам веришь… так помоги!

Жан Багдадский всплеснул руками:

– Антуан! Ты слышишь? Самый коварный и страшный преступник Державы явился просить помощи у законопослушного гражданина! Преступив законы человеческие и Божеские, совратив на неверный путь честного слугу Церкви!

Антуан молчал. Пулевик свой он спрятал в кобуру, хотя застегивать ее не стал. Йенс, нервно озираясь, мелко отхлебывал из бокала. Он чувствовал себя хуже всех нас.

– Почему я тебе помогать должен, а? – вопросил Жан. – Ильмар Скользкий?

– Потому что вся судьба мира сейчас решается, – твердо сказал я. – Если Маркус – Искупитель, то долг наш общий – помочь ему. Если Искуситель – то мы должны его остановить.

– Маленький Марк – Искупитель… или Искуситель… Ох, ну и дела. – Лекарь потряс головой, будто собираясь сбросить остатки волос. – И как же ты намерен правду познать? Не лучше ли оставить Дому и Церкви решать столь важный вопрос?

Я покачал головой:

– Нет, лекарь. Не лучше. И у Дома, и у Церкви слишком

большие интересы на грешной земле. Боюсь, перевесят они, когда решать придется.

Жан прекратил ерничать. Вздохнул, схватился за голову, топорща седые волосенки. И сказал, с неожиданной искренностью:

– Ну ладно, тут ты прав. И что для себя сейчас выгоды не ищешь – тоже верю. Но как ты будешь решать, кто есть Маркус?

– Не знаю. В этом совета и прошу.

– Только в этом?

– Нет. Еще я не знаю, куда сейчас подадутся Маркус, Хелен, Луиза и Арнольд.

Жан поморщился:

– А я тут чем помогу? Про Хелен слышал кое-что…

– Хорошая летунья… – вдруг тихо вставил Антуан. – Красивая женщина… если память меня не подводит.

Жан сделал долгую паузу, будто упрекая Антуана за вмешательство в разговор, и продолжил:

– Ну а про Луизу и Арнольда – считай, одни только имена и слышал! Откуда мне знать, куда твои друзья-товарищи кинутся?

– Кто из них решать будет? – спросил я, глядя в глаза Жану.

– Маркус… – неохотно признал старик. – Что бы они там ни решали, а двинутся туда, куда Маркус захочет. Сами того не понимая.

– Ты лучше всех Маркуса знаешь, – продолжил я. – С младенчества, считай. Сам пуповину ему обрезал…

– За родами присматривал, а пуповину не резал. На это акушерка есть, – ответил Жан. – Ну да, знаю. Знал.

– Значит, можешь предположить. И кто такой Маркус, добро или зло он несет. И куда сейчас отправится.

Жан Багдадский, барон не принадлежащих Державе османских земель, забарабанил по столу сухими тонкими пальцами. Задал я ему задачку. И самое главное, что найти ответ ему самому хотелось.

– Антуан, а что ты скажешь? – спросил он.

Старый летун вздохнул:

– Жан, я представляю себе суть вопроса, но принца Маркуса даже не видел в глаза.

– При чем тут это? Я-то Маркуса знаю как облупленного. Как-никак лечил, да и общался немало. Мальчик он был славный, добрый и умный. Но! – Жан назидательно поднял вверх палец. – Все толкователи святых текстов сходятся на том, что Искуситель как раз таки и будет производить впечатление человека хорошего и доброго! При этом сильного духом, умеющего людьми управлять и к нужной ему цели подводить.

– А что говорят святые тексты об Искупителе? – Теперь уже Антуан дал волю иронии.

– То же самое, – мрачно ответил Жан. – Только доброта Искупителя истинная, а у Искусителя – притворная. Го-

ворится, что человек искренне верующий сам, мол, разницу почувствует.

– Замечательная метода, – кивнул Антуан. – Если бы в полете нам приходилось полагаться лишь на чутье – ни один летун не дожил бы до старости.

– Не богохульствуйте… – тихо сказал Йенс. – Нельзя сравнивать таинство божьей любви и грубое искусство управления планёром…

Глаза у Антуана прищурились. Зная Хелен, я готов был ожидать любой резкости – летун, говоря о своей профессии, начисто разум теряет! Но Антуан вдруг склонил голову, будто в безмолвном извинении, и произнес:

– Может, это и благо, что, говоря о свойствах человеческой души, мы не вправе положиться на самые тонкие приборы? Если бы можно было измерить добро и зло, определить их по шкале, подобной шкале альтиметра или компаса, мы утратили бы всякий стимул меняться… меняться к лучшему. Но я не представляю себе, как возможно создать такой прибор… Чего ты от меня хочешь, Жан?

– Ты поэт, Антуан, – негромко сказал лекарь. – Что бы ты ни говорил о себе и чем бы ни занимался, но ты всегда был поэтом. К сожалению, трусливым поэтом.

Антуан вздрогнул.

– Я хороший лекарь, и возраст дает мне право сказать это вслух, – продолжал Жан. – Но я вижу лишь тело. А ты умеешь видеть душу людей, Антуан. Все светлое, что есть

в душе. Ты мог бы писать книги, которые заставят людей задуматься о душе не меньше, чем самая искренняя проповедь самого святого епископа. Но ты струсил. Не захотел сам предстать с оголенной душой!

– Это неправда, Жан!

– Правда. Может быть, виной тому твои друзья… среди которых я числю и себя. Мы терялись. И прятали свое смущение за насмешками, за иронией и сарказмом. Твои подвиги до сих пор вспоминают державные летуны, но может быть, одна-единственная твоя книга стала бы выше всех этих подвигов?

– Не думаю, Жан. Мне кажется, что одна-единственная спасенная жизнь выше всех книг, – серьезно ответил Антуан.

– Когда в Северном море ты сел возле сбитого планёра и выловил товарища из ледяной воды, это был подлинный героизм. – Жан развел руками. – Сутки качаясь на волнах, ожидая, что налетит шквал или вода вольется в поплавки, ты боролся за чужую жизнь, отдав в заклад свою…

Удивительно, вся насмешливость сползла со старого лекаря. Сейчас он сам говорил как поэт, пусть даже случайный, поэт поневоле, на миг отразивший красноречие своего друга…

– Но почему ты не хочешь поверить, что тысячи и тысячи людей тонут каждый день в ледяных волнах жизни? – Жан поднял голос. – Почему ты не решился поставить на кон свою душу – чтобы спасти их?

– Не знаю, Жан. Может быть, потому, что это никому не было нужно? – Антуан как-то беспомощно развел руками.

– Откуда людям знать, что им нужно, если этого еще нет на свете? – вопросом ответил Жан. – А… дело прошлого, Антуан. И мы с тобой тоже часть прошлого. Случайно зажившиеся на свете старики. Но, может быть, у нас есть шанс доказать… что столь долгая жизнь была нам дана не случайно.

– Чего ты хочешь от меня, Жан? – резко спросил Антуан.

– Я хочу, чтобы ты, вместе с Ильмаром, нашел принца Маркуса! Чтобы ты посмотрел ему в глаза и понял, что он такое – добро или зло!

Старик, бывший когда-то героическим летуном, прижал ладонь к лицу. Лишь глаза смотрели поверх пальцев – на бывшего лекаря Жана Багдадского. Наконец Антуан заговорил:

– Ты назвал меня трусом, Жан… никто и никогда не говорил мне таких слов. Но, может быть, ты прав. Может быть, высшая смелость для меня состояла в том, чтобы заговорить в полный голос. И что же, теперь ты хочешь, чтобы старый трус проявил неслыханную смелость? Взялся судить мессию?

– Да. Потому что только ты сможешь это сделать. Я не смогу – я помню Маркуса ребенком, и память не даст судить здраво. Ильмар не сможет – он помнит Маркуса своим младшим каторжным товарищем, и память не позволит ему уви-

деть правду. Но ты, ты будешь смотреть в его душу. Ты поймешь, кто он сейчас. И когда поймешь – скажешь Ильмару. Вот и все.

– И если я скажу, что в душе этого мальчика – зло… – тихо начал Антуан.

– Нет. Если ты скажешь, что в его душе нет добра. Тогда пусть решает Церковь.

Антуан покачал головой. Он был не то чтобы напуган – удивлен. И голос его стал задумчив, обретая прежнюю певучую интонацию:

– Однажды, когда я был молод, мой планёр упал в предгорьях Альп. Никто не назовет падение с двух километров посадкой, но я был жив и даже не поранился. Я еще не успел порадоваться своему спасению, не успел задуматься, как стану ночевать в горах, один у разбитого планёра, который никогда не рискнул бы предать огню. В горах трудно выжить. Я бродил вокруг планёра, ощупывал разбитые крылья и порванную ткань – так касаются раненого друга, отдавшего за тебя жизнь, и тут к нам подъехала повозка. Мое падение, оказывается, видели. Это был не пастух или одинокий горец, как я вначале подумал, это был местный метеоролог, один из тех неисчислимых тружеников, что составляют наши карты, предупреждают о зарождающейся буре или о просветлевшем небе…

Йенс, выпучив глаза, слушал Антуана. Да и меня захватил рассказ.

– Мы приехали к нему домой – в маленький крепкий дом на откосе горы, рядом с мачтой телеграфа и теплой армейской голубятней. Метеоролог сразу пошел к телеграфу, сообщать о случившемся, потом выпустил трех голубей – сгущался туман, и в сигналы телеграфа уже не было веры. Навстречу мне вышла его жена, простая и скромная женщина, всю жизнь скитающаяся вместе с мужем по самым глухим уголкам Державы. В ее глазах была растерянность, страх и восторг – словно ангел Божий упал к порогу дома. Двадцать лет она помогала мужу, лишь иногда замечая в небе белую точку планёра, и вот впервые встретилась с одним из тех, ради кого забыла уют больших городов. Мы прошли в дом и сели ужинать за круглым столом, освещенным керосиновой лампой. По тому, как бережно достали лампу из шкафа, я понял, что это роскошь, редкая роскошь для небогатой семьи. Мы сидели в круге света, пили чай, я беседовал с ними, постепенно понимая, что и впрямь жив. А за столом вертелся их сын, мальчик лет десяти. Когда ужин подходил к концу, я понял, что никогда еще не встречал столь милую семью – и такого отвратительного ребенка. Он дерзил отцу, угрюмо смотрел на меня, вторгшегося в их крошечную крепость, капризничал, заставляя мать краснеть и извиняться. Когда ребенка наконец-то выгнали из-за стола и он выбежал из дома, всем стало легче. Мы еще долго говорили, я рассказывал им о полетах, о больших городах, о суровой жизни военных лагерей, о своих товарищах. Потом вышел на крыльцо,

чтобы выкурить трубку. Редкие звезды сияли в разрывах туч – так подлинная красота пробивается даже сквозь плотную вуаль. Было зябко, за дверью тихонько спорили метеоролог и его жена – они решали, как поудобнее уложить меня на ночь. Несносного ребенка нигде не было видно. И вдруг я услышал шорох под крыльцом. Перегнулся через перила, посмотрел – и увидел мальчишку, сидящего на корточках перед какой-то дырой в фундаменте дома. Любопытство взяло верх над неприязнью, я спустился и присел рядом с ребенком. Это оказалась нора, укрытие их мелкой беспородной собачонки, о существовании которой я и не подозревал. Оттуда пахло теплом и жизнью. И вдруг мальчик протянул в нору руки, достал что-то и осторожно вручил мне. «Смотрите, здесь щенки», – прошептал он. Крошечный щенок и впрямь слепо тыкался в ладони. А мальчик смотрел на меня, глаза его были полны восторга и настороженности – что я сделаю, пойму ли его восторг и то доверие, что он вдруг решился оказать мне, залетному чужаку. «Замечательные щенки», – только и ответил я. Мы вернули щенка взволнованной матери и пошли в дом, уже связанные общей тайной. Я вдруг понял, как слеп был, глядя на этого ребенка. И ужаснулся, что мог покинуть этот дом, так и не поняв его до конца, приняв волнение мальчика, разлученного со своими любимцами, за капризы и нелюдимость.

Антуан опустил руку в карман, достал старую, выглаженную руками трубку, кисет. Закурил.

– Да, ошибиться и не понять может любой, – спокойно возразил Жан. – Ты прав, и твой пример вполне подходит. Но все-таки у тебя больше всех шансов понять Маркуса. Ты прекрасно знаешь, Антуан, как сильно может быть человеческое слово… самое обычное слово. Потому и не стал записывать свои истории. Не захотел принимать на себя ответственность. А сейчас я прошу тебя принять груз куда более тяжкий. И это последний выбор в твоей жизни, Антуан! Последнее испытание, от которого ты можешь отказаться.

– Мы даже не знаем, где скрывается этот маленький принц… – пробормотал летун.

– Вот это как раз не проблема. – Жан усмехнулся. – Ильмар, ты человек молодой, принеси-ка из буфета еще бутылочку такого вина!

Я охотно исполнил требуемое, открыл вино изящным медным штопором, поставил на стол – подышать. А старый лекарь строго спросил:

– Ваш план небось был в Вест-Индию податься?

– Да, – признал я. – Но как – не обдумывали. Хотели подальше от Неаполя убраться вначале.

– Не захочет Маркус в Вест-Индию ехать, – сказал лекарь.

– Почему?

– Неинтересно ему это, Ильмар. А Маркус, поверь, не только о безопасности своей думает. Никогда он книжками про индейцев не зачитывался, в краснокожих и поселенцев не играл. Что есть Вест-Индия, что нет ее – ему безразлично.

– Вроде как он не протестовал… – пробормотал я.

– Конечно. Идея-то вроде правильная. Укрыться вдали от Державы, но при том на ее землях, среди привычного люда… Но теперь, когда ты в плену, Маркус сразу довод против найдет.

– Решит, что я планы выдам?

– А ты их не выдал? – заинтересовался лекарь.

Я опустил глаза.

– Нет, не отправится он в Вест-Индию… – размышлял вслух старик. – Неинтересно ему это. И далеко… Знаешь, чем Маркус в детстве интересовался?

– Откуда мне знать… – пробормотал я.

– Книжки про Руссию он читать любил. И серьезные, вроде мемуаров темника Суворова и записок думца Ульянова. И развлечения всякие: «Война и мир», «Ханум Елисавета», «Кошкодёр»…

– Думаешь, в Руссию? – спросил я. Ох, не приведи Сестра! Руссия страна суровая, охранка ханская дело свое знает, а уж теперь наверняка за Маркусом охота идет.

– Нет, – поразмыслив, ответил Жан. – Все-таки он уже не маленький мальчик, опасность понимает… Одно дело в мечтах вместе со стрельцами на подвиг скакать, а другое – под стрелецкие сабли свою голову сунуть. Значит, что? Вест-Индия отпадает, Руссия тоже…

Небрежность, с которой Жан отбрасывал страны, восхищала. Неужели он настолько уверен в своих догадках? Ему

бы в разведке Державной работать, а не клистиры графьям и принцам ставить!

– Индия, – задумчиво сказал лекарь. – Индия, страна волшебная, красивая, богатая… Нет. Вряд ли! Был при дворе один учитель, географию излагал, да в случае необходимости порол напроказивших детишек-аристократов…

Я усмехнулся.

– Порол-порол, – развеял мои сомнения Жан. – Что, думаешь только простолюдины детей через розгу уму учат? Порой и графеныш так учудит, что без должной порки не обойтись. Маркусу хоть нечасто, но тоже перепадало… по заслугам. Так вот, тот учитель, он в Индии прожил немало. Любил порассказывать про дела в колонии, и занимательно весьма! Только вот слишком откровенно – кроме романтики и про грязь упоминал, и про страшные болезни, про секты кровожадные и про нищету ужасающую. Вряд ли Маркус захочет отправиться в Индию! Что у нас осталось?

– Африканские земли… Ацтеки…

Жан покачал головой. Он напряженно размышлял, будто перед ним была карта расстелена.

– Нет… не то. Не то! А ведь вертится в голове… на язык просится.

– С Миракулюсом ты тогда хорошо угадал… – тихонько вставил я. – Подумай, Жан… Может, на родину матери подастся?

– Нет. Родня и без того Маркуса не слишком-то жаловала.

А уж теперь, когда его сам Владетель ищет…

С каждым мгновением, пока Жан предавался размышлениям, моя вера в него таяла. Нет, не получится такого, чтобы вновь он угадал путь Маркуса. Ничего он не знает.

Или, напротив, знает? Но комедию устраивает?

– Слушай, Жан Багдадский… – начал я. И тут лицо старика осветилось благостной улыбкой.

– Правильно, Ильмар! Молодец. Руссия для него заказана. В Державе – схватят. В колонии – не добраться, да и душа к ним не лежит. Значит, через Османскую империю. И путь почти как прямой, и побезопаснее других!

– Что – через Османскую империю? – совсем уж ничего не понимая, спросил я.

Лекарь вздохнул:

– Ильмар, Маркус – из тех людей, что ногу поднимая, уже знают, куда ее поставят. Скажи… никогда он не говорил с тобой о земле иудейской?

– Нет.

– Значит, точно. О том думал.

– А ведь ты прав, старый лис! – воскликнул Антуан. – Прав!

– Зачем ему в Иудею… – начал я. И замолчал, потому как понял.

– Искупитель он или Искуситель, а другой дороги ему нет! – тонко вскрикнул Жан. – Понял, Ильмар? Ты что, думаешь, чтобы в силу вступить, Маркусу надо возмужать? Это

дело десятое! Где бы и как бы он ни прятался, его в Иудею тянуть будет!

– Зачем? – тупо спросил Йенс.

– Чтобы понять, кто он есть, – ответил, вместо негодующе всплеснувшего руками Жана, его старый друг. – Чтобы прийти туда, откуда начал свой путь Искупитель.

– Или – туда, где Искусителю предрешено с Искупителем сразиться… – прошептал Йенс. – В Мегидду.

– Это пока неведомо, – отрезал Жан. – Но двинутся они через османские земли… вроде как и не под Державой страна, и в то же время особых интриг не плетет, живет себе помаленьку, своему Богу молится… Ильмар! Как бы ты в Османскую империю добирался? Если тебя ищут, если денег немного, если торопиться приходится?

– Через Паннонию, – не раздумывая ответил я. – С одной стороны граница ханства, на нее все внимание. А с османами вроде как тихо сейчас… вряд ли слишком следят за рубежом.

– Опять же без малого полста лет, как преторианцы в Аквиникуме мятеж подавили, – согласился со мной Жан. – С одной стороны, народ там теперь не бунтует, а с другой – Дом недолюбливает.

Смешная была картина, если со стороны поглядеть! Сидели мы вчетвером за столом и дружно друг другу кивали. Ни у кого слова против не нашлось.

То ли угадали мы, то ли все разом в заблуждение впали…

– Попробуй еще найди Маркуса в Паннонии! – решил я нарушить всеобщую радость. – Даже если в Аквиникуме таится. В Миракулюсе лишь потому встретились, что он сам встречи искал.

Жан вздохнул:

– Вот тут, Ильмар, ничего посоветовать не смогу. Детали все тебе придется распутывать. На месте. Перехватишь Маркуса в Паннонии – хорошо. Нет – двигайся в Иудею. Все равно он туда придет.

– В Иудее искать его проще, – тихо сказал Антуан. – Это пустынная и печальная страна, чей народ живет тяжким крестьянским трудом. Там трудно укрыться чужаку, хотя и вреда беспричинного ему не причинят.

– Ты там был? – спросил я.

– Да. Мы летали… когда шли стычки с османами…

Я ожидал услышать еще одну долгую и красивую историю, но Антуан замолчал. Наверное, говорить о войне ему нравилось куда меньше, чем о мире.

– Ильмар, родной, закрой-ка окошко, – попросил Жан. – Совсем уж схолодало…

Я послушно встал, смирившись с ролью мальчика на побегушках.

– Завтра вы отправитесь в Аквиникум, – резко произнес Жан, пока я возился с окном. – Ты в этом деле опытен, Ильмар, сам реши, кем вы с Антуаном притворяться станете.

– Мы с Антуаном? – не понял я.

– И Стража, и Церковь сейчас ищет двух молодых мужчин, – сказал Жан. – Или же вас с Йенсом поодиночке. Или же группу, в которой будут двое, похожие на вас по описаниям. Безопаснее всего, мне так думается, пробираться в Аквиникум двумя группами. Я с Йенсом, – старик широко улыбнулся монаху, – и ты с Антуаном.

– Не верю, – пробормотал Антуан. – Ты не только меня гонишь на край света, а еще и сам задницу от кресла отдираешь?

На лице Жана появилась такая добродушная улыбка, будто старому барону только что вернули весь Багдад, привели потерянного наследника рода и пожаловали новый титул.

– Антуан, я всегда был хорошим лекарем…

– Эта фраза завязла у меня в ушах… – буркнул Антуан.

– Да, завязла. С того самого дня, как ко мне принесли одного молодого летуна, сломавшего себе все, что только можно сломать. И вроде бы ты не жаловался на лечение, пусть даже мне редко приходилось заниматься хирургией?

Антуан улыбнулся.

– Так вот, я хороший лекарь, – повторил Жан и обвел нас высокомерным взглядом – кто дерзнет поспорить? Никто не дерзнул. – И себя я знаю получше, чем любого больного. Жить мне, милый Антуан, остался год. Позволит Сестра – два. Не больше. И цепляться мне в этой жизни не за что и не за кого. Я когда-то заварил всю эту историю…

– Это еще как? – нервно спросил Йенс. В обществе Жана

он явно чувствовал себя не в своей тарелке, а перспектива путешествовать с ним вместе повергала его в трепет.

– Я Маркусу помог на свет появиться, – разъяснил Жан. – Возможно, будь другой лекарь к подруге Владетеля приставлен, не пришлось бы нам тут сидеть. Так что посмотреть, чем история кончится, я должен. Сколько успею.

Глава пятая,
в которой я толкую притчу о бесплодной смоковнице, но последующий диспут совсем уж неописуем

Трудное дело – быть примерным сыном при старом и капризном отце.

– Где моя грелка? – воскликнул Антуан. – Исаия, ты хочешь моей смерти! Исаия!

– Я спешу, отец, – потряхивая накладными пейсами, воскликнул я. – Отец, вот твоя грелка!

Заворочавшись в кресле, Антуан величаво приподнял босые ноги. Я подсунул под них здоровенную деревянную грелку, которую самолично наполнил кипятком. Антуан довольно закряхтел.

Иудей из него вышел великолепный. Лучше, чем из меня, пожалуй. Просвещенный, верующий в свою веру, но Искупителя и Сестру, как положено жителю Державы, уважающий; хитрый, но законопослушный иудейский купец. Старый, но еще цепкий до жизни. Неимоверно ворчливый, придирчивый, бережливый к деньгам и азартный к еде. Думаю, многие постояльцы, поглядев на нас, преисполнились жалости ко мне – здоровому мужику, что вынужден бегать вокруг старого папаши, выполняя все его бесчисленные капризы.

– Исаия… – Антуан снизошел до того, чтобы посмотреть на меня. – Сходи к повару, погляди на курочку…

От очередного визита на кухню меня избавило появление поваренка. Отваренная с имбирем, а потом зажаренная с медовой подливкой курица золотилась на блюде, окруженная ломтиками репки и горкой картошки.

Антуан заерзал в кресле. Я воспользовался паузой, чтобы отойти в сторонку и присесть за общий стол среди пассажиров второго класса. Наш дилижанс остановился на ночь на постоялом дворе – то ли дорога здесь, вблизи от бандитского края, Швейцарии, слыла небезопасной, то ли просто кучера утомились.

– Гляжу, жид, он тебя весь вечер тиранит, – с сочувствием сказал усатый плотный мужик, методично надирающийся пивом. – На… глотни.

Он подвинул ко мне уже заказанную, но еще нетронутую кружку. Секунду я размышлял, стоит ли обижаться на «жида», и решил, что не стоит. Во-первых, настоящий иудей стерпел бы, а во-вторых, обижать меня не собирались – судя по акценту, сердобольный любитель пива был откуда-то из Богемии, там иудеев называют жидами, не вкладывая в слово ничего обидного.

– Спасибо, добрый человек, – сказал я, принимая кружку.

Пиво было крепким, темным, подогретым по случаю холодной погоды. За маленькими оконцами в полутьме уже кружили первые снежинки.

– Неужто отец? – спросил богемец с интересом.

– Папочка, – с должной почтительностью ответил я. – Он прихворнул в дороге, вот и… немножко нервничает.

Против удивления, богемец не стал насмехаться:

– Родителей надо уважать, это верно. Все такими будем… не приведи Сестра. Как тебя там… Исаия?

– Да, уважаемый.

– Пивичко. – Он протянул мне крепкую руку. На ладони не хватало двух пальцев, и он тут же разъяснил: – Сапером я был. В преторианских частях служил Державе. Как-то потерял…

– Вражьей миной?

– Нет… по дурости. – Пивичко поморщился. – Пошутить решили, заложили заряд под дом с гулящими девками. Небольшой… чтоб тряхнуло. Наш командир там как раз развлекался и по этому случаю нас всех взашей выгнал.

– И взрывом пальцы оторвало? – продолжал я расспрос.

– Если б взрывом… – Пивичко поморщился. – Мечом отсек. Обделался он с перепугу, в самый интересный момент. Так что отыгрался на нас.

Впрочем, мрачность недолго пребывала на его лице:

– Ничего. Говорят, он до сих пор с женщинами дела иметь не может. Как заберется с кем-то в кровать – так и пачкает исподнее!

Громко захохотав, Пивичко сдвинул со мной тяжелую глиняную кружку.

– Давай, жид. Восславим… ты в Сестру-то веруешь?

– Как можно! – Я тряхнул пейсами. – У нас своя вера, любезнейший!

– Значит, правильный иудей, – довольно произнес Пивичко. – Я так сразу и подумал. Я, брат, правильных жидов сразу вижу! Ну так давай Державу восславим. Прозит!

Мы чокнулись кружками.

– Исаия! – тревожно позвал Антуан, восседая за своим персональным столом. – Мальчик мой, ты пьешь пиво? Откуда ты взял это пиво?

– Я его угостил, уважаемый, – ответил Пивичко, стирая пену с усов. – Вроде как обычаи ваши дозволяют?

– Ему еще рано пить пиво! – упорствовал Антуан.

– Да ему своих детей пора к пиву приучать! – возразил Пивичко.

– А кто платит за пиво? – подозрительно спросил Антуан, обгладывая крылышко.

– Я. – Пивичко подмигнул мне.

– Ну… тогда пей, пей, Исаия. Только дай мне попробовать, не слишком ли крепкое пиво!

Захохотав, Пивичко подозвал подавальщицу и потребовал еще пива. Для нас и для «старого жида в углу зала».

Да, актер из Антуана вышел великолепный. Он переигрывал, конечно. Такие иудеи разве что в анекдотах бывают. Но для дешевого трактира и простой публики как раз такая игра и требовалась.

– Куда едете-то? – полюбопытствовал Пивичко.

– В Аквиникум.

Бывший сапер скривился.

– Ох… Не люблю мадьяр.

– Чего так?

– Я, брат, их насквозь вижу. До чего же противный народ! Жулик на жулике! И вечно на своем лопочут, ни одного слова человеческого нет. Будто им романского мало, выдумали себе язык, покарай их Искупитель!

Тут я в чем-то с ним был согласен. Конечно, на каком языке меж собой говорить – это дело личное, но такого языка, как у мадьяр, во всей Державе не найти. Только у диких киргизов в руссийских степях наречие похоже.

– А разве у них пиво? – продолжал кипятиться Пивичко. – Нет, ты скажи, разве пиво умеют они варить?

– Зато вино… ничего.

– Вот именно, что «ничего». Разве с моравским или галлийским сравнить?

Я кивнул, решив не спорить. Не удержался только от замечания:

– Говорят, бани у них хороши, даже в Риме таких нет…

– Бани! – Пивичко смачно сплюнул на пол. – Дерьмом в их банях несет! Яйцами тухлыми! Вода эта… серная. И ходят мужики среди мужиков в фартуках! В фартуках, в бане, ты подумай! Будто сраму стыдятся!

Он воинственно оглядел зал, будто надеялся найти здесь

мадьяра, причем голого, в фартуке, и воняющего тухлыми яйцами.

– Нет, ты скажи, зачем мужику от мужика в бане под фартуком прятаться? Сразу видно – дело нечисто! Что вы там делать собрались?

– Перцем торговать.

– Перец они любят, – согласился Пивичко. – Их бы этим перцем накормить до отвала… Только они ж сами перец растят да от османов завозят!

– У нас из самой Вест-Индии перец, – объяснил я. – Такой жгучий, какого у османов не бывает.

– Тогда с выгодой съездите, – согласился Пивичко. – Вот за что я вас, жидов, не люблю, но уважаю – всегда с выгодой обернетесь! Давай!

Через четверть часа мы взяли еще по кружке – теперь уж литровой, чтобы зря не гонять милую подавальщицу. От насытившегося Антуана мне перепала половина курицы, которую я честно поделил с бывшим сапером. Как он рассказал, нынче ему принадлежала небольшая пивоварня на Боише, а возвращался он из самого Парижа, куда договорился поставлять по двадцать бочек пива ежемесячно.

– Прибыль пока небольшая, – растолковывал Пивичко. – Но верная. И это начало только! Ты смотри, если тебя совсем отец затиранит, приезжай ко мне, я тебя управляющим поставлю. Я же вижу, ты мужик хваткий, даром на посылках бегаешь. И в пиве толк понимаешь. Так что подумай!

Я согласился, что если совсем замучаюсь угождать ворчливому родителю, то непременно приеду.

– Слушай, а давай-ка тому толстомордому физиономию начистим? – неожиданно предложил Пивичко, указывая на мирно дремлющего за другим концом стола мужика. – Чую, есть в нем мадьярская кровь!

– Да не похоже, – урезонил я нового товарища. – Просто не повезло человеку с рожей.

Пивичко вздохнул. Удачная поездка явно будоражила ему кровь и требовала выхода энергии.

– Ну, тогда давай… – впившись взглядом в повиливающую бедрами подавальщицу, начал Пивичко. К счастью, в этот момент Антуан подал голос:

– Исаия! Исаия, помоги мне подняться в комнату!

Горестно разведя руками, я допил пиво, украдкой положил на стол полмарки – пусть пивовар убедится, что человек я не совсем уж несамостоятельный, и пошел к своему капризному отцу.

– Ну как? – гордо спросил Антуан, едва мы закрыли дверь. – Хорошо?

Я кивнул:

– Хорошо. Только… я и впрямь устал.

Антуан удовлетворенно засмеялся:

– Не будешь в следующий раз сомневаться, хватит ли у меня актерских талантов.

Номер был небольшой, но вполне уютный. Конечно, газовых рожков в придорожной гостинице не было, но имелся водопровод и даже теплый сортир при номере.

– Я когда-то хотел быть артистом, – разбирая постель, сказал Антуан. – Скрипачом. Поэтом. Потом мечтал на пароходе кочегаром по морям плавать. А потом однажды увидел планёр…

Он улыбнулся, будто этот миг до сих пор оставался с ним.

– Мне было двенадцать лет. Тот странный возраст, когда мальчик начинает превращаться в мужчину, и мир внезапно обретает сотни новых цветов и движений, будто волшебные картинки в теневом театре. Может быть, чуть раньше или чуть позже небо не стало бы для меня таким желанным. Я родом из Лиона, Ильмар, но когда умер старый граф, мой отец, мы уехали в Ле-Ман. За матерью пытался ухаживать Габриэль Сальез, замечательный летун и неплохой человек. Однажды он прокатил меня на планёре… – Антуан улыбнулся, – наверное, просто чтобы я не смотрел косо на его визиты в наш дом. Визиты его так ничем и не увенчались, но зато я впервые поднялся в небо. Пусть невысоко, пусть всего на пять минут… Тогда я забросил и скрипку, и стихи, и театральные представления, что мы с друзьями устраивали для родных. Небо… небо, Ильмар, это свобода. Чтобы научиться любить землю, надо однажды подняться в небо.

Антуан со вздохом вытянулся на кровати. Помолчал немного и сказал:

– Десять лет назад я летал последний раз. И то спасибо друзьям, что позволили сесть в планёр… Но мне до сих пор снится, как я проверяю запал, смотрю свежие карты… Подбегает Дидье, предупреждает о грозовом фронте, что движется наперерез маршруту. Заводят стартовые тросы, паренек из технической обслуги бежит вдоль дорожки, выискивая случайные камешки и ветки… знаешь, Ильмар, что может натворить один-единственный камешек, попавший под колесо при разгоне? Когда-то Гийоме учил меня…

Старый летун уже засыпал, еще называя какие-то имена, рассказывая тонкости их сложной работы, предупреждая меня – будто я тоже был его товарищем, летуном, готовящимся поутру поднять планёр в еще темное небо.

Я задул свечу, на ощупь разделся, лег в постель. В голове немного шумело от пива, вспоминался воинственный, но дружелюбный пивовар. Было хорошо. Не вспоминалась черная яма церковной тюрьмы, на время забылся Маркус – кем бы он ни был: Искупителем, Искусителем или обычным мальчишкой, узнавшим святую древнюю тайну. Я лежал, засыпая, и в голове крутились какие-то хорошие, простые картины. Антуан, уже было замолчавший, заговорил снова:

– А иногда мне снится, что я падаю. Мы ведь все частенько падаем, Ильмар… А когда падаешь, главное – не испугаться. Все беды происходят от страха. Стоит тебе испугаться, и страх начинает расти. Руки теряют силу, мысли застывают, воля тает – и ты отдаешься во власть ужаса. Смотришь, как

приближается земля, слышишь, как трещат крылья… и ничего не можешь сделать. Страх рождает лишь страх.

– Но иногда и впрямь ничего нельзя сделать, – сказал я.

– Почему? Если бы меня посадили в ту тюрьму, где сидел ты, я бы опустил руки. Сказал бы себе: ничего нельзя сделать. Но ты же смог.

– Зато я не смог бы спасти планёр. Правильно упасть…

– В каждом человеке похоронены тысячи других людей, – мягко ответил Антуан. – Десятки тысяч. Те, кем он мог быть. В каждом из нас спрятан и поэт и вор, и душегуб и святой, и моряк и летун. Нам не дано прожить тысячи жизней, мы выбираем из них одну-единственную, зачастую ошибаясь при этом. Но раз уж мы сделали когда-то выбор… надо помнить, кем ты мог стать. Надо нести в себе все свои непрожитые жизни.

– Ты жалеешь, что не стал поэтом? – спросил я. – Что не написал книг, которые мог написать?

– Я прожил хорошую жизнь, – негромко сказал Антуан. Мне казалось, что он скажет что-нибудь еще, и я терпеливо ждал. Но старый летун молчал.

И мне вдруг показалось, что он умер. Тихо и спокойно умер, вдали от своего дома, отправившись вместе с беглым преступником на край света. Не боюсь я покойников, да и Антуана едва-едва успел узнать, но от этой мысли меня пробило липким потом. Я лежал и боролся с желанием зажечь свечу или окрикнуть летуна погромче.

А потом вспомнил недавние слова Антуана про страх.

Про страх, который питается страхом.

Про тысячи жизней, не прожитых каждым человеком на Земле.

Я вдруг подумал, что смерть – это не так уж и страшно, ведь каждый из нас уже умирал тысячи раз. И где-то, в неведомой дали, умерли поэт Антуан и летун Ильмар.

Тогда я повернулся на бок, закутался в одеяло и уснул.

Утро выдалось замечательное.

Проснулся я оттого, что старый летун бродил по комнате, вполголоса и довольно мелодично напевая какую-то незатейливую песенку о радостях честной жизни, сельского труда и простого отдыха. Помирать он, ясное дело, накануне не собирался. Просто отличался крепким и хорошим сном.

Умывшись, одевшись, облачившись в черный костюм, подобающий иудею, и подвязав свои фальшивые пейсы, я спустился вниз. Повар при моем появлении закатил глаза, но послушно выслушал указания о завтраке. Наш дилижанс должен был отправляться через час. Пренебрегая удобствами, ждущими меня в комнате, я вышел во двор, прошелся к деревянным будочкам для пассажиров попроще.

На улице было хорошо. Холодно, даже лужи похрустывали под ногой тонкими прозрачными льдинками. Но холод был такой, что только бодрит и заставляет веселее глядеть вокруг.

Постоялый двор стоял у самой дороги: хорошей, наезженной, в этот ранний час по ней уже двигались несколько карет и повозок. В раскрытых дверях конюшни я видел кучеров, возившихся с лошадьми, задающих им корма перед дорогой. Кухонные мальчишки, судя по всему братья-погодки, тащили из погреба корзины с продуктами. Пассажиры тоже не преминут поесть горячего перед отправлением в путь. Легкая изморозь лежала на красной черепице, которой были крыты все постройки, из отворенного оконца доносился кокетливый девичий смех. Никак вчерашняя подавальщица уже с кем-то заигрывает.

Я довольно долго стоял, глядя на близкие уже Альпы, на белую шапку Монблана, над которой клубились облака. Конечно, видал я горы и повыше, вот хотя бы китайские Гималаи, но там они совсем уж суровые, населенные странным народом, ими любоваться даже в голову не придет.

К вечеру мы будем у первого перевала, что нам предстоит пересечь. Путь до Паннонии долог. Каким путем добираются в Аквиникум Жан с Йенсом, я не знал да и знать в общем-то не хотел. Чего не знаешь, того не выдашь.

Только бы прав оказался бывший лекарь Дома. Удалось бы догнать Маркуса со спутниками на мадьярской земле. Фора у них немалая…

Из дверей постоялого двора вышел мой вчерашний собутыльник. Дружелюбно махнул рукой – надо же, узнал, не залил пивом мозги, и бодрой трусцой побежал к деревянным

будочкам. Сообразив, что сейчас меня ждет новый разговор о плохом характере обитателей Паннонии, а то и пара кружек пива, что перед поездкой в дилижансе вовсе излишне, я направился в дом.

Хорошо здесь, наверное, жить. У большой торной дороги, в красивом и благодатном краю. И почему у меня натура такая, что на месте не сидится? Давно бы уж осел где-нибудь…

У ворот защелкал бич, звонко заиграл кучерский рожок. Торопливо подпоясываясь, вышел открывать ворота сам хозяин постоялого двора, еще заспанный, но уже с дежурной улыбкой на все лицо.

Я любопытствовать новыми гостями не стал, а пошел на второй этаж, в нашу с Антуаном комнату. Зря, конечно. Расслабился, слишком долго альпийскими видами любовался.

Постную кашу Антуан лишь поковырял брезгливо, а вот на вареные яйца и мягкую кровяную колбасу налег с удовольствием. Я ел мало. Мной овладел какой-то печальный и романтический настрой. Может, так, с изрядным промежутком, откликалась тюрьма в Урбисе. Бывает у меня такое, бывает, уже вроде как неделя прошла – и вдруг отзывается во всем теле жуть. Не страхом, а, напротив, покоем.

Упаковав дорожные саквояжи, мы спустились вниз. В зале трактира было непривычно тихо, и обслуга носилась будто кипятком ошпаренная, но при этом тихая и благостная.

А я и на это внимания не обратил. Уж больно совпало мое

настроение с обстановкой. Выбираются на улицу примолкшие пассажиры – так и что в том удивительного? Трусит к почетному столу, который вчера Антуан занимал, хозяин постоялого двора со святой книгой в сафьяновом переплете – ну так мало ли зачем…

И только услышав сладкий, как мед, голос хозяина, я вздрогнул:

– Ваше преосвященство, не откажите в великой чести…

За почетным столом сидели трое. На двоих я как глянул – сразу холодом обдало. Монахи. Из тех, на которых я в Урбисе насмотрелся, что в руках не только псалтырь держать умеют. Плечи широченные, даже серые плащи мускулистых фигур не скрывают, по лицам разве что кузнечный молот не прогулялся. Самая пугающая смесь – благостность вперемешку со сломанными носами и приплюснутыми ушами.

Третий, к которому хозяин и обращался, ничем им не уступал. Здоровенный, хотя и пожилой уже мужчина, под стать офицеру Стражи Арнольду, но так ведь тот – человек военный. Лицо грубое, будто из камня тесанное, волосы жесткие, соломенные, нос картофелиной. Правда, нос целый – такой скорее сам пару физиономий расквасит, чем позволит до своей дотянуться. И при всем том – белый епископский плащ, святой столб на шнурке поверх одежды…

Пронеси, Сестра!

Запнувшись на миг, я продолжил спускаться по лестнице. Один из монахов-охранников уставился на нас с Антуаном,

другой продолжал наблюдать за хозяином постоялого двора.

Епископ тем временем взял святую книгу, открыл на задних страницах, для толкования трудных мест чистыми оставленных, подумал миг, потом окунул в чернильницу угодливо поданное хозяином перо и быстро что-то написал. Протянул руку, прошептал что-то, благословляя.

Как бы на нашем месте поступили законопослушные иудеи?

Уж никак бы мимо не прошли, это точно. Хоть и другая вера, а Церковь им положено чтить.

– Доброго утра, ваше преосвященство… – поклонившись и складывая руки лодочкой, сказал я. Рядом со мной, с некоторой заминкой, склонился в поклоне Антуан.

Но епископ почему-то даже не сразу в нашу сторону посмотрел. Сидел, задумчиво перелистывая Святое Писание, не отпуская хозяина. Потом спросил: голос его оказался грубым, как и внешность, но наполненным силой:

– Что сказано о хозяине дома в притче о смоковнице?

Хозяин, похоже, едва не обделался от страха. Хозяйство свое он вел исправно, это я сразу понял, но вот в святую книгу вряд ли часто заглядывал.

– Сказано… сказано… – заблеял он, собираясь с памятью. – Если бы ведал хозяин… хозяин ведал…

– Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего, – возвращая ему книгу, сказал епископ. Посмотрел на Антуана,

потом на меня. Жестом велел встать и приблизиться.

Избавленный от экзамена хозяин торопливо пятился, не забывая при этом кланяться. Видно, нечасто проезжали этой дорогой епископы.

– Доброго утра и легкого пути, ваше преосвященство, – повторил я, раздумывая, не опуститься ли на колени. Нечисто дело. Эх, не будь со мной Антуана, дал бы деру! Если двери конюшни открыты, можно было бы успеть на коня вскочить…

Епископ задумчиво смотрел на меня. Потом спросил:

– Знаешь ли ты притчу о бесплодной смоковнице?

Дались ему эти смоквы! Притчу я знал, но зачем епископу экзаменовать двух послушных иудеев на знание святых текстов?

– Да, ваше преосвященство.

Епископ ждал, и я начал:

– На другой день, когда они вышли из Вифлеема, Он взалкал. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было смокв. И сказали Искупителю ученики Его: что же Ты не проклял ее? ибо не пожелала она накормить Тебя! пусть не вкушает никто от нее плода вовек! Разгневался Он и ответил: не знаете, чего просите: можно ли ждать плодов, прежде чем созрели они? можно ли ждать приплода, прежде чем вырос скот? можно ли ждать веры, прежде чем окреп дух? Устыдились учени-

ки Его и спросили: «Зачем же ты пошел к смоковнице, раз не могла она дать Тебе плоды свои?» Он, отвечая, говорит им: истинно говорю вам, ищите добрые плоды и даны будут, ищите зимой и летом, весной и осенью, в свете и во тьме, но не проклинайте, если время их еще не настало.

Я замолчал, переводя дыхание. Притчи я с детства любил послушать, но чтобы так, без остановки, без единой запинки – это с перепугу.

Епископ улыбался. Потом спросил:

– А в чем смысл этой притчи?

– В том, что человек должен стремиться к добродетели, искать ее денно и нощно, но если добродетель еще не достигнута, то нельзя это человеку в вину ставить, – чувствуя себя учеником на суровом экзамене, ответил я.

– Ты, верно, чтишь законы и обычаи Державы? – спросил епископ.

– Да, ваше преосвященство.

Епископ размышлял. Может, не подобает иудеям к самому Епископу с приветствиями обращаться? Да нет, доводилось мне такое видеть, и не раз. Пускай вера и другая, а уважение к Церкви проявлять им требуется.

– Счастливого пути и тебе… – Епископ вдруг резко, даже монахи-охранники вздрогнули, подался через стол, коснулся моего лба крепкими пальцами и шепотом добавил: – Ильмар.

Я окаменел.

А епископ, с удовлетворенным лицом выпрямившись, откинулся на спинку кресла и громко сказал:

– Вижу, вы достойные подданные нашей Державы. И куда же лежит ваш путь?

Я молчал.

Нет. Хватит. Если догадка Жана была верна, то…

– В Аквиникум, ваше преосвященство, – любезно сказал Антуан. – Мы скромные торговцы, ваше преосвященство…

– Садись, садись! – Епископ мягко и в то же время повелительно указал на соседнее кресло – откуда как ветром сдуло охранника. – Негоже старому человеку стоять перед молодыми.

Ну, по сравнению с Антуаном он и впрямь был молод, хоть полста лет всяко прожил… Я медленно поднялся с колен.

– И ты садись, – любезно велел епископ. – Отрадно увидеть столь искушенных в вере, пусть и не достигнувших еще прозрения, людей. Тем более что путь мой по странной случайности лежит в Аквиникум. Не есть ли это знак свыше, что я должен предоставить вам место в моей карете?

– О нет, мы не достойны столь высокой чести! – живо отреагировал Антуан. – Правда, Исаия?

– Какой еще Исаия? – с упреком спросил его епископ. С таким выразительным упреком, что Антуан замолчал. А епископ повернулся к стоящему монаху и велел: – Иди к дилижансу, пусть этим добрым людям вернут остаток денег за проезд. Дальше они поедут с нами.

Монах склонил бритую голову и вышел.

Мы с Антуаном мрачно смотрели друг на друга. «Ох беда, беда пришла в наш дом» – так любила говорить моя мать при самом мелком расстройстве: соль ли просыплется, или дорогие шведские спички ломаются одна за одной, не зажигаясь. Но тут-то и впрямь: беда пришла.

Честно говоря, я бы даже против самого епископа не решился выступить. Тут Арнольд с его бычьей силищей нужен. Это не старичок Ульбрихт, епископ амстердамский. Это прямо головорез какой-то, бандит бывший…

Я вскинул голову и спросил:

– Ваше преосвященство… Жерар Светоносный?

Похоже, удалось и мне его удивить.

– Да, брат мой. Какая превосходная была бы паства, не правда ли? – вопросил епископ у второго охранника. – Не состоит ли мой долг в том, чтобы пролить на эти заблудшие души свет веры? – Охранник скорчил рожу, долженствующую обозначать радость и дружелюбие. – А сходи-ка, брат Луи, за бутылочкой хорошего вина. Моего вина, с моего виноградника.

Вышел и второй охранник. Мы остались втроем.

– Не имею чести быть знакомым, – вежливо сказал епископ Жерар Антуану.

– Соломон, торговец пряностями… – начал было Антуан, но на лице епископа появилась улыбка: будто скалу ущельем раскололо. – А, одиннадцать проклятых! – в сердцах

воскликнул старик. – Антуан, граф Лионский!

– Это вы автор патента «Приспособление для защиты стекол кабины от замерзания»? – живо поинтересовался Жерар.

Антуан удивленно уставился на него. Буркнул:

– Да.

– Меня, помнится, удивило – как пришла вам в голову столь странная мысль? Поливать стекла спиртом?

– Мы базировались на севере. Выпивки все время не хватало, – коротко ответил Антуан.

Епископ Жерар Светоносный захохотал:

– А патент на новую систему сброса ракетных толкачей?

– Мой друг разбился насмерть, когда у него не отделился один толкач.

Жерар сразу же замолчал, склонил голову:

– Все мы в руках Божьих. И через нашу смерть он спасает новые жизни…

– Что вы собираетесь с нами делать, ваше святейшество? – резко спросил Антуан. – Я старый человек и с возрастом приобрел некоторую нетерпеливость.

– Я не знаю, – вроде бы искренне ответил Жерар. – Сейчас я хочу позавтракать, мы ехали всю ночь напролет, а дорога не позволяла даже разогреть чай. А еще я с удовольствием выпью с вами вина. Но что делать дальше – пока не знаю.

– Ваше преосвященство, как вы меня узнали? – позволил себе вопрос и я. – На чем я… прокололся?

Жерар развел руками:

– Ни на чем. Но когда-то, в дни своей грешной молодости… – Он сложил руки столбом, пробормотал что-то и продолжил: – Я подумал, что если счесть эти пейсы накладными, а форму носа измененной гримом, как делал вор Жерар Беспутный, то выйдет почти что портрет вора Ильмара.

Вернулся монах, который ходил к дилижансу объявить о нашем отказе продолжать путь. Молча выложил перед Антуаном деньги. По-моему, перепуганные возницы вернули полную плату, даже не вычитая за преодоленный участок пути.

Увидев, что в беседе наступил перерыв, из кухни торопливо засновали с подносами хозяин и его немолодая, дородная жена. Смазливую подавальщицу, вечно носившую юбку выше коленей, видно, спрятали от греха подальше… ну и зря, наверное. Не тот был человек Жерар Светоносный, некогда вор Жерар Беспутный, чтобы разражаться гневом при виде виляющей попки и лукавого взгляда.

Чем больше я смотрел на епископа, наверное, самого вольнодумного и странного епископа Державы, тем сильнее и сильнее загоралась в моей душе надежда. Безумная. Невозможная.

– Восемь, – сказал я неожиданно. Негромко, но Жерар меня услышал. Поглядел – с легким удивлением. И спросил:

– Уже восемь?

Да, епископская карета – любым дилижансам не чета. Доводилось мне уже в такой ездить… ох доводилось, с братом

Руудом, несчастным паладином, что так и не смог свой подвиг совершить.

Мы с Антуаном сидели на одном диванчике, спиной к движению, епископ Жерар – напротив нас. Мягко ехала карета, на дорогих железных рессорах, на каучуковых шинах. Горела карбидная лампа под цветным абажуром, бросала блики на кожаную обивку. Окна были шторами задернуты, переговорная труба, к кучерам ведущая, плотно деревянной пробкой закрыта.

Роскошь. По чину положенная епископу, но все-таки…

– Мне кажется, Ильмар, что ты размышляешь, пристало ли призывающему к смирению епископу разъезжать в таком дорогом экипаже, – сказал Жерар.

Я кивнул.

– Не пристало, – спокойно подтвердил Жерар. – Я редко в нем выезжаю. Разве что в Урбис, или в Версаль, так по этикету положено.

– А почему бы епископу, который в каждой проповеди осуждает богатство, не приехать к Владетелю в простой карете или вовсе пешком от Собора до Версаля не пройтись? – дерзко спросил я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.